# Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка

# Жоржи Амаду

## I

## ГИБЕЛЬ ПОЭТА АНТОНИО БРУНО, ПРИКЛЮЧИВШАЯСЯ С НИМ ВСЛЕДСТВИЕ ПАДЕНИЯ ПАРИЖА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«...это честь, которая возносит,

венчает, прославляет и радует».

*Машадо де Ассиз* [[1]](#footnote-1)*о Бразильской Академии*

«Querre connerie, la querre!»

— «Война — это такая подлость!»

*Жак Превер «Барбара»*

«Heil Hitler!» — «Хайль Гит­лер!» —

приветствие, которое было очень

распространено когда-то.

«No pasaran!» — «Они не прой­дут!»

— девиз Пасионарии, выбран­ный

престарелым академиком Эвандро

Нунесом дос Сантосом.

Это история о том, как два старых вольнодумца, два писателя-академика, объявили войну нацизму и насилию. Всякое совпадение с реально существовавшими учреждениями, академиями, корпорациями, классами и группами общества, а также с событиями, имевшими место в действительности, а также с отдельными лицами, носит совершенно случайный характер, поскольку всё, что будет рассказано здесь, — плод воображения и размышления автора. Реальны только диктатура Нового государства[[2]](#footnote-2), закон о национальной безопасности, переполненные тюрьмы, камеры пыток, мракобесие. Реальна развязан­ная нацизмом вторая мировая война на самом страшном её этапе, когда казалось, что всё обречено на гибель и все надежды рухнули.

### НЕНАПИСАННЫЙ СОНЕТ

Поэт Антонио Бруно скоропостижно скончался от второго инфаркта 25 сентября 1940 года. Сияющее утро, теплый и чистый воздух, напоенный солнцем, напомнили ему другое утро, когда ясный свет, лившийся в окно его парижской мансарды, окутывал, точно прозрачный шелк рубашки, нагое тело спящей на кровати женщины. Об этом можно написать сонет, подумал он тогда, но сонета написать не успел, потому что женщина проснулась и протянула к нему руки.

Припомнив это, Антонио Бруно взял бумагу и перо и своим красивым почерком, словно вырисовывая каждую букву, написал в верху листа слова, которые, без сомнения, должны были стать заглавием любовного стихотворения: «Рубашка». Радостное воспоминание стало мучительным, светлая грусть сменилась острой болью — «никогда, никогда больше!». Поэт не сочинил ни единой строки: схватился за сердце, уронил голову на заваленную бумагами столешницу. Открылась вакансия в Академию.

Первый инфаркт настиг его ровно три месяца назад, когда Бруно услышал по радио весть о падении Парижа.

### ТРУДНАЯ И КРОВОПРОЛИТНАЯ БИТВА

«Да, это была настоящая битва», — заявлял много лет спустя Афранио Портела, который с годами приобрел привычку выражаться с категорической уверенностью. Говоря об этих событиях, он всякий раз повторял, что война шла мировая: «Мы все участвуем в ней: поле битвы не знает географических границ и демаркационных линий; любое оружие сгодится и понадобится; даже самая скромная победа пробудит надежду».

Шло время, и в речах восьмидесятилетнего писателя, автора пленительных и чарующих книг, острослова и несравненного рассказчика, всё отчетливей проявлялась склонность к некоторому преувеличению самого события и его последствий: академик не то шутя, не то всерьез называл себя активным участником французского Сопротивления, макияром, командиром партизанского отряда — именно так, судя по всему, он себя и вёл.

Так действовал и безрассудный профессор Эвандро Нунес, второй участник заговора, — тот, кто, по словам Афранио, проявил столь непреклонную решительность при проведении второго этапа операции.

— Мы добились своего, и я уж был готов остановиться на достигнутом, но Эвандро не согласился. Он требо­вал «всё или ничего!».

Академик Афранио Портела никогда не забывал добавить, что битва, в которой были разгромлены силы международного фашизма и бразильской реакции, была не только трудной, но и кровопролитной.

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА

С каких это пор выборы в Бразильскую Академию приравниваются к битве?! Тем более что борьба была ограничена рамками этой корпорации и малым числом участников — их было только тридцать девять человек, тридцать девять живых академиков. Отнюдь не желая принизить значение выборов нового члена Академии (выборы, учитывая бесспорный, хотя и оспариваемый престиж звания «бессмертного», широко обсуждаются в печати и в интеллектуальных кругах), мы всё-таки хотим подчеркнуть, что речь шла о не очень значительном событии, которое совпало по времени с грандиозными и трагическими мировыми катаклизмами, поскольку произошло в самом разгаре второй мировой войны, в 1940 году, когда победно шествовавшие германские войска поставили на колени Францию, а самолеты Люфтваффе обращали в прах и пепел города и деревни Англии. Для многих, — может быть, почти для всех — поражение демократии было предрешено, близился миг всеобщего смертельного оцепенения: это был вопрос нескольких месяцев или даже недель. Гитлер провозгласил тысячелетний рейх — мы станем его частью. Настало время страха и отчаяния.

Сколько же поколений будет обращено в рабов за тысячу лет господства нацистов? В небе над Лондоном было темно от германских бомбардировщиков, танки захватчиков ворвались на территории европейских держав, Польша исчезла с карты мира, смолкли венские вальсы, и не произносилось больше гордое имя Австрии, на древних башнях Праги развевалось знамя со свастикой, и незаживающей раной горела па груди иудеев желтая звезда Давида. Кровь и грязь, террор и жестокость, аншлюсы и протектораты, гестапо, СА, СС, концлагеря, газовые камеры, позор и смерть. Настало время страха и отчаяния. Время безнадежности.

А в Бразилии под эгидой тиранической Конституции Нового государства и после введения военного положения — отблеска побед Гитлера и Муссолини — репрессии достигли пика своей жестокости. Идиллические отношения с Германией определяли политику правительства: была учреждена цензура, принят пресловутый закон о национальной безопасности и создан трибунал. Никакой неприкосновенности личности, никаких свобод, никаких прав: полиция приобрела неслыханную, ничем не ограниченную власть. В тюрьмах, в колониях, в подвалах полицейских комиссариатов пытали политических заключенных.

В тот самый миг, когда взволнованный академик Лизандро Лейте сообщал по телефону полковнику Агналдо Сампайо Перейре печальное и вместе с тем приятное известие о кончине поэта Бруно — известие, давшее сигнал к выдвижению сил и средств на исходные позиции, — железнодорожник Элиас, известный также под кличкой Пророк, висел под потолком в застенке Управления специальной полиции, а атлетически сложенные сотрудники этой ударной организации, этой твердыни режима пытались выбить из него имена, пароли и явки. Любопытно, что хранить упорное молчание и выдерживать зверский допрос помогали Элиасу строки недавно прочитанной им поэмы, напечатанной на мимеографе на грязном листке бумаги. А вот поэту Антонио Бруно, который эти строки сочинил, они ничем не помогли — не уберегли его ни от уныния, ни от отчаяния.

И можно ли после того, как мы окинули взглядом эту величественную панораму, серьезно относиться к выборам в Академию словесности? Можно ли увидеть в этой процедуре что-либо, кроме обычных интриг и пустопорожней болтовни? Разумеется, громкие имена членов Академии, значительный вклад, внесенный ими в развитие отечественной культуры, «бессмертие», расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир — все это служит причиной острой борьбы за обладание вакантным местом и жестокого соперничества претендентов, по можно ли утверждать, что борьба эта превратилась в беспощадную войну между торжествующим нацизмом и разрозненными силами демократии?

Можно. Академик Афранио Портела не лгал и не преувеличивал, когда говорил о битве и упоминал о пробуждении надежды. Что же касается Эвандро Нунеса дос Сантоса, автора фундаментальных исследований о современной бразильской действительности и людях Бразилии — исследований весьма замечательных по превос­ходному знакомству с вопросом, по оригинальности мышления, по дерзости неожиданных выводов, — то этот пи­сатель, будучи крайним индивидуалистом, борьбу довёл до победного конца. Он ненавидел всё и всяческие проявления власти и чинопочитания до такой степени, что никогда не надевал свой мундир академика, появляясь на торжественных собраниях в обыкновенном пиджаке. Пиджак, кстати сказать, гораздо лучше подходил и к должности — Эвандро Нупес был профессором гражданского права — и к наружности этого высокого, тощего семидесятилетнего старика.

### ГЕРОЙ-ПОЛКОВНИК. ЭСКИЗ ПОРТРЕТА

Да, неприятно было, когда полковник, перелистав гранки, внезапно рассвирепел и потерял весь свой лоск. До этой минуты беседа проходила в атмосфере хотя и напряженной, но все же пристойной: разумеется, нечего было и ждать, что шеф службы безопасности Нового государства и ничтожный журналист, тайный смутьян, подозреваемый в принадлежности к коммунистической партии и к тому же ещё еврей, будут обмениваться любезностями, улыбками и сердечными пожеланиями.

Лицо полковника исказилось от ярости, глаза вспых­нули желтым фанатическим огнем: теперь он стал по-настоящему опасен, и ждать от него можно было всего. Он тряс зажатыми в кулаке гранками перед носом своего тощего и перепуганного собеседника, сидевшего, как в траншее под обстрелом, по другую сторону стола — по ту сторону линии фронта, поскольку кабинет полковника стал полем сражения.

Срываясь на фальцет, полковник визгливо орал:

— Негодяй! Вы ещё смеете утверждать, что это не коммунистический пасквиль? Вы что, дураком меня считаете?! Дураком?! — Последние слова сопровождались ударом кулака о стол: словно разорвалась фугаска или мина.

Обычно голос полковника — хорошо поставленный, звучный, поистине «командный» голос — бархатисто ро­кочет при любых обстоятельствах: и когда полковник изрекает неоспоримые, по его мнению, истины, и когда в пылу спора хлещет словами, как пощечинами, по лицу оппонента. Интонации его продуманны, жесты размеренны, осанка и позы величественны. Но случается порой, что полковник теряет над собой власть — ищи-свищи тогда невозмутимого и мужественного, непреклонного и сдержанного военачальника, следа не остается от неколебимого героя, от знаменитого и прославленного Агналдо Сампайо Перейры.

Этот человек умеет и размышлять, и действовать; он закалён борьбой (не борьбой, поправляет он, а войной, беспощадной войной с врагами отчизны); он написал больше десяти книг, высоко оцененных прессой. Он прекрасно сохранился для своих пятидесяти лет, на смугловатом лице почти нет морщин. Когда несколько минут назад он говорил о превосходстве арийской расы — «нам, арийцам, суждено взнуздать и укротить человечество...», — журналист Самуэл Ледерман при всей затруднительности своего положения не стал восхищаться силой и энергией этого высказывания, а неожиданно предался неосторожным и непочтительным размышлениям: интересно, сколько негритянской крови струится в жилах благородного наездника, укротителя человечества? А раз­ве хорошо вылепленный, но крючковатый нос шефа безопасности и фамилия Перейра не выдают его семитские корни, не свидетельствуют о том, что в роду полковника были «новые христиане», крещеные иудеи, огнем и же­лезом обращенные некогда святой инквизицией? («Ей-богу, Сэм, ты прямо какой-то ненормальный!» — скажет Да, свернувшись в клубочек у ног журналиста.) Это бессовестная клевета, ибо никому не придет в голову усомниться в том, что полковник наделен духом истинного арийца.

Да, арийца, потому что полковник, хоть и был несомненным бразильцем в пятом колене, хоть в его жилах и текла кровь многих рас, отстаивал свои арийские воззрения упорно и убежденно. В былые годы он создал вдох­новенный труд — книгу «За арийскую цивилизацию в тропиках. Очерк развития бразильской расы», — поднятый на щит правой прессой, рекомендованный в качестве учебного пособия для государственных гимназий и некоторых факультетов, — это гарантировало ее автору большие тиражи переизданий и высокие гонорары.

Многие дамы считали, что полковник очень хорош собой: им нравились его широкие плечи, уверенная походка, черные, аккуратно приглаженные волосы, блестящие от бриллиантина, его энергичное лицо над воротом без­упречного мундира. Он напоминал одного из американских киноактеров, страсть к которым, подобно какой-то неопасной, но прилипчивой болезни, вроде кори, охватывала некогда целые континенты. И впрямь, во всём облике железного полковника, не обиженного ни умом, ни проницательностью, непреклонного и даже бесчеловечно жестокого, когда дело касалось защиты священных принципов, было что-то актерское, чувствовалась некоторая нарочитость — и в том, каким поставленным голосом и с какими ораторскими приёмами произносил он самые обыденные фразы, и в том, каким пронизывающим инквизиторским взором, способным, казалось, читать в душах, смотрел на злоумышленников. Этот взор, кстати, давался полковнику нелегко и требовал от него постоянной сосредоточенности, потому что глаза ему от природы достались круглые, невыразительные, совсем не злые и даже наивные.

Газеты, писавшие о полковнике, предваряли его имя весьма лестными и воинственными эпитетами — «бесстрашный, отважный, мужественный». Похвалы эти усилились с того дня, когда на улицах Рио-де-Жанейро, столицы нашей республики, Сампайо Перейра — в то время еще подполковник — во главе подразделений специальной полиции и ударных отрядов из Управления по охране политического и общественного порядка разогнал орущую толпу опасных смутьянов, до зубов вооруженных подрывными лозунгами, криками, поднятыми вверх кулаками, — этот сброд устроил демонстрацию протеста после Мюн­хенского пакта и падения Праги, когда Итамарати[[3]](#footnote-3) выдало служащих посольства Чехословакии германским властям. В тот день враги законности и порядка потерпели жестокое поражение, надолго отбившее у них охоту устраивать манифестации.

Полковник был человеком действия, но вместе с тем и мыслителем: его многочисленные теоретические труды снискали ему похвалы собратьев по перу — «один из самых плодовитых и активных писателей нашего времени», «разносторонний политический публицист», «очеркист высокого полёта» и тому подобные. Книги полковника Перейры прославляли «твёрдый порядок», бичевали гнилость и деградацию демократических режимов, раскрывали перед читателями чудовищную коммунистическую опасность.

Первые статьи он написал ещё в бытность свою членом «Палаты сорока» и яростным активистом общества «Интегралистское действие». Когда после переворота 1937 года политические партии были запрещены, он отошел от своих взглядов, заявив в одной из статей: «Ныне принципы интегрализма воплощаются в жизнь Новым государством, которое не допускает существования многопартийной системы — явления ненужного и, если вдуматься, даже вредного, двусмысленного и провокационного». Во время неудавшейся попытки мятежа 1938 года полковник оставался верен правительству и без малейших колебаний хватал и сажал былых сподвижников. Последние труды Перейры идеологически обосновывали необходимость Нового государства, тоталитарные принципы и железная дисциплина которого страдали от многократно доказанной неспособности бразильского народа понимать великие идеи и отдавать должное великим людям. Именно так полковник и заявил журналисту Ледерману в начале беседы:

— ...распущенность, равнодушие, слабохарактерность — всё это результаты губительного воздействия метисацин! — Полковник метисацию ненавидел.

Когда-то Перейра — в ту пору лейтенант, недавний выпускник военного училища, — кропал романтические стишки и даже издал худосочный сборничек. Поскольку автор был тогда молод и никакой властью не обладал, одни критики разнесли его творения в пух и прах, дру­гие же вовсе промолчали. Сам Жоан Рибейро, известный благожелательным отношением к начинающим талантам, не смог найти в этом сборнике ничего интересного и обозвал его в своём еженедельном обозрении «набором кое-как зарифмованных слюнявых восторгов». Нужно отметить, что, когда через несколько лет Перейра оставил поэзию и занялся политической публицистикой, старый критик пожалел об этом: «...если раньше он коверкал метр и истязал ритм, то теперь его истерическая проза угрожает нации и народу, свободе и будущности Бразилии».

Всё это доказывает, что, кроме восторженных и пре­данных почитателей, находились у полковника и хулители, которые не прощали ему ни политической деятельности, ни литературного творчества. Они называли его могильщиком демократии и гражданских прав, они говорили, что он опозорил свой военный мундир, пойдя на службу к полицейской реакции, что он возглавляет в Бразилии «пятую колонну», что он организует репрессии, санкционирует пытки и приглашает для обмена опытом специалистов из гестапо и что лучшего гауляйтера Бразилии Гитлеру не найти.

Полковник гордился этими нападками не меньше, чем похвалами. Лаврами и розами увенчивали его «испытанные патриоты, соль земли, строители новой Бразилии», ругань же и оскорбления исходили от «гнилых либералов и коммунистических подонков».

### РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ

— Ничего не могу поделать, это от меня не зависит, распоряжение свыше...

Когда начальник Департамента печати и пропаганды, сообщив Ледерману, что журнал запрещён и он ничем не сможет ему помочь, выразительно развёл руками, тот не захотел признать себя побеждённым и решил обратиться непосредственно к полковнику Сампайо Перейре. Приказ исходил от него, только он может его отменить. («У тебя не все дома, Сэм, ты до смерти будешь верить в чудеса», — скажет Да, качая кудрявой каштановой головкой.)

«Наш доморощенный Геббельс — настоящая скотина, — так отозвался начальник ДПП о полковнике, а по­том, отдавая ему должное и обнаруживая некоторый страх, добавил: — Но скотина кровожадная. Будь осто­рожен, смотри, как бы он тебя не засадил». Ледерман вспомнил дни, проведённые в подвале политической полиции, куда попал в прошлом году во время облавы. По случаю вторжения немецких войск в Прагу были арестованы сотни людей. В камеру, рассчитанную на двадцать человек, набили больше пятидесяти; они спали вповалку на голом и мокром цементном полу, раз в день получали отвратительное пойло, ни разу не умывались и задыхались от смрада: вместо всех благ комфорта им был предоставлен жестяной бак из-под керосина. Кроме того, им были отлично слышны крики тех, кого пытали в соседних камерах... Однако неприятное воспоминание не охладило пыл Ледермана: как-никак он — политический репортёр крупной еженедельной газеты, поддерживает связи с влиятельными людьми... Он пробьётся к полковнику.

— Пожалуйста, имей в виду, что по нынешним временам освободить тебя из каталажки будет очень непросто, — сказал ему на прощанье начальник ДПП.

Поразительный все-таки тип этот начальник Департамента: верой и правдой служит правительству на таком важном посту, а сам питает тайные, но очевидные симпатии к Англии и Франции, заступается за скомпрометированных журналистов вроде Ледермана, который был редактором ежемесячника «Перспектива», последнего из органов левой печати, зарегистрированных в Департаменте, и в конце концов запрещённого как и все остальные.

### ПОЛКОВНИК ВЕДЁТ ТОТАЛЬНУЮ ВОЙНУ И КРИТИКУЕТ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ

Двуличие начальника Департамента печати и пропаганды доказывает, что Новое государство, основанное на принципах нацизма, вовсе не так монолитно, как хоте­лось бы полковнику Перейре: кое-где в государственном аппарате ещё гнездятся недобитые либералы. Но ничего, уже близок день, когда в органах власти останутся лишь пламенные патриоты, горячие приверженцы сурового режима, ничем не запятнанные арийцы. Близок великий день полной победы, когда полетят головы и прольется искупительная кровь... Полковник стоит возле карты Европы и вдохновенно декламирует:

— Мы уничтожим всех врагов — всех до единого! Нам чужда жалость! — Глаза-буравчики впились в Ле­дермана. — Жалость присуща слабым. Жалость — признак упадка. — Чуждый жалости полковник передвигает флажки на карте: теперь они воткнуты вплотную к франко-испанской границе. — Первый этап войны завершается блестящей победой. Нам принадлежит вся Европа. Под гениальным предводительством фюрера мы водрузим наши знамёна на вершинах Пиренеев. В Испании нас ждёт славный генералиссимус Франко, в Португалии — мудрый доктор Салазар.

Эта сводка читалась в начале беседы, и Ледерман не унывал. Прежде чем просмотреть гранки — «материал совершенно нейтральный», уверял журналист, — полковник решил доказать ему, что какая-либо оппозиция к нацизму бессмысленна, и повёл речь о тотальной и молниеносной войне. Но несмотря на танки и пушки, истребители и бомбардировщики, несмотря на число убитых и пленных, несмотря на концлагеря и лагеря уничтожения, несмотря на знамёна со свастикой, журналист не терял надежды на благоприятный исход своего дела: неужели этой махине может хоть в чём-то помешать маленький журнальчик, где будут печататься репортажи, осторожные обозрения на международные темы — например, об американском «Новом курсе», — стихи и рассказы?.. Журналист внимательно слушает и не противоречит полковнику, который с воодушевлением рисует картины грядущих триумфов, неминуемого разгрома Великобритании, потом... Короткая пауза подчёркивает важность сообщения, полученного, быть может, из первых рук — из ставки, фюрера.

— А потом придёт черед Советской России. У наших бронированных дивизий, — «наших» прозвучало очень непринуждённо: разве не является Бразилия естественным союзником третьего рейха в Латинской Америке? — прогулка по степям займёт не больше одной-двух недель... Россия исчезнет, и коммунизм будет выкорчеван с нашей планеты!

Покорив Советский Союз и освободив мир от коммунизма, воинственный и довольный собой полковник сел в своё кресло. Он бросил победительный взгляд через стол — через линию фронта, — чтобы насладиться зрелищем поверженного в прах врага, и с удивлением отме­тил, что жалкий иудей вовсе в прах не повержен. Изде­вательская улыбка змеилась по его гнусным губам, в голосе звучала насмешка:

— Неужели, господин полковник, вам хватит недели? Учтите, территория России довольно обширна... Наполеон...

— Молчать!

Сверлящий взгляд стал недоверчивым и недоброжелательным, полковник сдвинул брови. Самуэл спохватился, но было уже поздно. («Ах, Сэм, наживешь ты себе беду с твоим характером», — скажет Да, целуя его глаза.) После тягостного молчания полковник придвинул к себе гранки и, едва перелистав их, взорвался:

— Какой цинизм! Каждая строка источает яд. — Он просмотрел заголовки статей, фотографии, бегло прочёл на выборку несколько заметок. — Латифундии, наследие феодализма, разбой — старая марксистская песня, вы посмеете это отрицать? Фотоснимки фавел и негров... В Рио больше нечего снимать? В городе перевелись белые люди?

— Это репортаж о самбе, — попытался объясниться Самуэл.

— Молчать, я сказал! Та-ак... «Современное искус­ство»! Набор непристойностей, утеха вырожденцев! Фюрер с присущей ему гениальностью запретил эту мерзкую мазню. Она способна лишить нацию мужественности — недаром опозоренная Франция превратилась в страну женоподобных существ.

Эти «ню», исполненные мощи и яростной энергии, оскорбляют тонкий вкус пылкого полковника — отвращение его неподдельно, негодование искренне. Полковник Перейра ценит изображения обнаженной натуры, «но лишь когда они по-настоящему художественны, написаны с вдохновением и чувством».

Самуэл, воспользовавшись неожиданной атакой на живопись, оправился от испуга и решил возобновить диалог. Но не тут-то было: полковник совсем взбесился, даже зарычал от ярости, увидев напечатанный на всю полосу портрет президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта.

— Это еще что такое?

— Это, господин полковник, президент...

— Президент? Еврей на жалованье у международного коммунизма! Делано — это еврейское имя, разве вы не знаете? Нет? А мы вот знаем!

Он с негодованием оттолкнул от себя лист, с которого улыбался ненавистный политикан, и придвинул последнюю пачку корректуры. Однако возмутиться стихотворением Антонио Бруно «Песнь любви покорённому городу» полковник не успел, потому что зазвонил теле­фон — особый, секретный, предназначенный для самых важных и спешных сообщений, телефон, номер которого известен лишь очень немногим. Полковник отложил гранки и снял трубку; он ещё не пришел в себя: глаза горели, голос срывался. Очень скоро, впрочем, он успокоился и принял свой обычный вид; голос опять стал звучным, уверенным, а кроме того, вежливым, почтительным, чуть ли не льстивым. «Наверно, звонит кто-нибудь не меньше военного министра», — подумал журналист.

### АКАДЕМИК ЛИЗАНДРО ЛЕЙТЕ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ЮРИСТ И ВЕРНЫЙ ДРУГ

Он ошибался. Это был не военный министр, и вообще не министр, и даже просто не военный. На другом конце провода потел и задыхался тучный человек с львиной гривой волос — академик, дезембаргадор[[4]](#footnote-4) и профессор коммерческого права Лизандро Лейте. Обладателю всех этих титулов и званий стоило большого труда раздобыть секретный номер телефона.

— Полковник, сегодня утром умер Антонио Бруно Я был в суде, поэтому узнал об этом только что.

Полковник, услыхав эту скорбную весть, открываю­щую перед ним широчайшие горизонты, не смог удержаться от восклицания и подавить улыбку. Но тут же спохватился, собрался, притушил улыбку, несовместимую с выражением скорби, которого требовало печальное (вовсе даже не печальное!) известие.

— Антонио Бруно? Умер?

— У нас появилось вакантное место, полковник!

— Какая потеря для нашей словесности!.. Какая не­восполнимая утрата! Выдающийся талант...

— Да, да, поэт божьей милостью... — прервал Лизандро Лейте эту напыщенную надгробную речь. Он не для того терпел грубости неведомых сержантов и капралов, которые отказывались соединить его с кабинетом полковника, не для того выворачивался наизнанку, доставая номер его личного и секретного телефона, чтобы теперь выслушивать банальности. — Мы не на заседании Академии, приберегите эти красоты для своей речи, полковник.

— Какой речи?

— Открылась вакансия! — Академик произнёс эта слова с пафосом, словно дарил полковнику нечто редкое и бесценное. Нет, он предпринял все эти усилия не только для того, чтобы сообщить полковнику о смерти своего коллеги по Академии, поэта Антонио Бруно. Лизандро Лейте давал своему прославленному собрату и другу возможность стать одним из «бессмертных», членом Бразильской Академии. — Но действовать надо немедля, нельзя терять ни минуты. Ни минуты! — повторил он.

Лизандро Лейте, «просвещённейший корифей юриди­ческой литературы», состоял членом Академии уже больше десяти лет и считался крупным специалистом по выборам: как свои пять пальцев знал он все хитрости и тонкости, все тактические маневры и стратегические удары, которые неизменно приводили его протеже к победе. Прозорливый покровитель кандидатов в Академию умудрялся получать немалые барыши с каждых выборов. Злые языки — а они есть повсюду, даже и в Академии, — утверждали, что своей стремительной судейской карьерой Лейте в немалой степени обязан этим вожделенным для многих вакансиям — «он преуспевает в жизни за счет смерти». Если подобные высказывания касались его слуха, он не обращал на них внимания, невозмутимо следуя своей стезей. А сейчас он ласково, но властно наставлял нового кандидата, растолковывал, что тому надлежит предпринять:

— Нужно, чтобы члены Академии немедленно узна­ли о том, что вы выставляете свою кандидатуру, что ос­вободившееся место принадлежит вам, мой славный друг...

Бестрепетного и отважного полковника, возглавляющего силы безопасности, ни разу не дрогнувшего перед лицом коварного и подлого внутреннего врага, сейчас, когда должна начаться борьба за бессмертие, внезапно охватывает странное смятение. Запинаясь, он бормочет:

— Выдвигать мою кандидатуру?.. Прямо сейчас? А тело Бруно уже перевезли туда?.. Неудобно... Может быть, дождаться похорон? Так, наверно, будет лучше?..

Круглые, растерянные глаза полковника натыкаются на журналиста — он совсем забыл про этого ненужного свидетеля. Прикрыв трубку ладонью, полковник говорит:

— Вон отсюда!

Самука — как называют Самуэла Ледермана друзья, или Сэм, как зовет его жена Да, — попытался было спорить; надежды нет, но долг требует довести дело до конца:

— Так как же с журналом, господин полковник? Вы разрешаете? («Эх, Сэм, до чего ж ты невезучий...» — чудится ему усталый голосок Да.)

Глаза-буравчики вспыхивают опасным огоньком.

— Что? Как вы смеете?.. Немедленно вон отсюда, пока я не передумал и не велел вас арестовать!

Журналист, смирившийся с поражением, собрал гранки. Личное свидание с шефом службы безопасности ожидаемых результатов не принесло; «Перспектива» запрещена окончательно и бесповоротно, а ее редактор избежал тюрьмы по счастливой случайности, и никогда отныне он не позволит в своём присутствии дурно отзываться об Академии, об этой достойнейшей корпорации.

Сунув ненужные теперь гранки в карман, маленький журналист Самуэл Ледерман идёт по сумрачным коридорам и горько скорбит о смерти поэта Антонио Бруно, с которым говорил всего один раз. Ода Парижу, занятому, немцами, песнь борьбы и надежды, так и останется ненапечатанной в настоящей типографии. Самуэл, как и многие другие, знает некоторые строфы наизусть и сейчас произносит их про себя. Поражение уже не так печалит его, мечта сильнее действительности: рано или поздно, не сейчас, так завтра, его полуподпольный, затравленный, обречённый журнальчик превратится в крупную ежедневную газету, чуткую, живую, актуальную — большие репортажи, именитые авторы, наши и иностранные, свободный обмен мнениями, публикации, не снившиеся другим газетам. Так будет, когда Париж станет свободным, а в Бразилии воцарится демократия. («Эх, Сэм, ты неисправим...»)

### РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЛАТИНСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

— Повторите, пожалуйста, сеньор Лейте, я не расслышал. Вы сказали, что...

Теперь, когда перед глазами не торчит проклятый соглядатай, когда можно не следить за выражением лица, полковник дал себе волю: он взволнованно слушает со­беседника и кивает в знак согласия с мудрыми установками многоопытного академика.

— Сейчас, друг мой, настало время атак, а не соблюдения формальностей. Самое главное — не упустить момент. Атаковать, занять выгодную позицию, не дать другим упредить себя! Кандидатов будет много, прошу учесть... — Разумеется, академик разглагольствует для того, чтобы подчеркнуть значение своих советов и своего участия в этой бескровной, но ожесточенной битве, чтобы выделить свою роль: выступить как можно раньше — вот залог и основа блестящей победы, вот наилучшее тактическое решение. — А1еа jасtа еst![[5]](#footnote-5)

Полковник покорно повторят:

— А1еа jасtа еst! Я всецело доверяю вам и признаю вашу правоту, друг мой. Я поступлю так, как вы мне советуете, и полностью предаюсь вашему опыту и знаниям.

Только того — если не считать избрания полковника в члены Академии — и надо было сеньору Лизандро. Впрочем, задача не из самых сложных. Нет претендента, который мог бы сравниться с полковником Перейрой: он занимает важный пост, он может рассчитывать на поддержку самых могущественных людей государства, он вхож на самый верх... Конечно, найдутся такие, кто будет возражать, брезгливо морщиться, говоря о политических симпатиях кандидата в академики, но дальше кукиша в кармане дело не пойдёт — поворчат-поворчат да и проглотят пилюлю, проголосуют за полковника. Выборы пройдут как по маслу. Итак, Лейте обеспечит избра­ние, наденет на полковника шитый золотом мундир, произнесёт речь о его заслугах на церемонии приёма. А если полковник попросит произнести эту речь кого-нибудь другого, то уж это будет с его стороны беспримерным свинством... Зал будет полон генералами, министрами, может быть, явится сам Глава Государства... Дипломатический корпус, великосветские дамы... изысканные наряды... декольте... брильянты, кружева, ордена, блеск и роскошь (не говоря уж о фотографиях в прессе), а потом...

Ах, а потом придёт время заслуженной награды: при первой же возможности Лейте станет членом Верховного федерального суда, ибо, как известно, долг платежом красен, рука руку моет. Получаешь, полковник, Акаде­мию, давай сюда Верховный суд.

Идеи и предложения так и сыплются из него, пот течёт по лицу «гнусного стряпчего» — так называют его за глаза коллеги. Медовый голос, завораживающая убедительность — намечаются перспективы, расширяются горизонты. Полковник слушает как зачарованный.

— Разумеется. Ваша кандидатура будет поддержана всеми вооруженными силами. Всеми! Министр? Министр сделает всё, что будет нужно. Что? Да-да, вы совершенно правы: вашу кандидатуру выдвигает армия — ведь до сих пор она никем не представлена в Академии. Согласитесь, что это абсурд. Вы очень правильно выразились: это послужит признанием заслуг нашей армии.

Академик говорит и говорит, приводя неотразимые аргументы из истории Академии. Какой глубокий ум! Полковник чувствует себя уже избранным.

— Именно так, сеньор Лизандро, именно так. Об этом я не подумал...

— Напрасно, напрасно, мой благородный друг. Это место в Академии принадлежит вооруженным силам. Принадлежит и принадлежало искони. Ваше избрание восстановит славный обычай, нарушенный Антонио Бруно.

Слова эти ласкают слух полковника. Он весел и возбуждён. Лизандро Лейте кончает свой монолог решительным и оптимистическим предсказанием.

— Вы в самом деле уверены, сеньор Лизандро, что других претендентов не будет? Вы думаете, это возможно?

«Полковник, не будьте наивны. Кто в Бразилии, учитывая обстановку в стране и в мире, осмелится состязаться со всемогущим начальником службы безопасности? Есть предел всякому безумству», — думает Лизандро Лейте, вытирая пот со лба и улыбаясь.

— Я со своей стороны сделаю всё возможное и невозможное для того, чтобы вы, мой благородный друг, остались единственным кандидатом. Единственный кандидат, избранный единогласно, — вот как будет!

### СОВЕРШЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Есть ли в душе человеческой чувство сильнее тщеславия? Нет, отвечал Афранио Портела, и в ходе выборов мнение его подтвердилось.

Для того чтобы стать одним из сорока «бессмертных», чтобы надеть на себя расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир, положить руку на эфес шпаги, а под мышку сунуть треуголку, чтобы покоить тощее или мясистое — у кого как — седалище на бархате академических кресел, самые могущественные люди, самые славные наши сограждане пойдут на всё: грубиян станет тихоней, нахал — подлизой, скупец превратится в транжира, разбрасывающего деньги на букеты и подарки. Не поверишь, пока не увидишь собственными глазами. Обо всём этом можно пофилософствовать всласть и рассказать немало забавного, но у нас, к сожалению, нет ни времени, ни места...

Вот, к примеру, полковник Агналдо Сампайо Перейра, Этот человек, повелевающий армией и полицией, наделённый беспредельной властью, человек, перед которым трепещут министры, всё-таки не считает, что исполнил своё предназначение: ему не хватает членства в Академии. Ещё не исполнилась заветная мечта, сопровождающая полковника всю жизнь с того дня, когда он выпустил первую (и охаянную) книгу — сборник стихов.

Однажды он излил душу своему деятельному земляку Лизандро Лейте. «Нужно выждать удобный момент», — сказал тот и пустился в рассуждения о трудностях, связанных с избранием. Время от времени в беседе они затрагивали тему, так волновавшую полковника. «Зреет, зреет», — говорил академик, имея в виду благоприятную ситуацию. Шесть месяцев назад он сообщил: «Всё в порядке, лучше времени не найти, у нас на руках все козыри. Не хватает только вакансии». Полковник и Лейте принялись подводить баланс возраста и состояния здоровья академиков, и сальдо оказалось в их пользу: было ясно, что некоторым «бессмертным» уже недолго оставаться таковыми. Например, великий Персио Менезес заболел раком.

Членство в Академии! Окаменевшая химера! Свидетельство того, что даже непреклонный арийский военачальник, ведущий борьбу за мировое господство, способен мечтать так же пылко, как какой-нибудь ничтожный и неблагонадежный еврей-журналист.

### ВЕСЁЛАЯ ПАНИХИДА

Хор женских голосов оживлённо звенит у гроба. Ах, Антонио Бруно, ты неисправим! Во что превратил ты важную печаль, суровую сдержанность, молчаливую скорбь, приличествующую панихиде?

Хотя академики, выйдя из автомобилей, и постарались принять надлежащий вид, но кто сможет сохранить сдержанность и серьезность, проходя вдоль фронта очаровательных дам, целуя им ручки, двусмысленно пошучивая, выслушивая и рассказывая вольные анекдоты, припоминая пылкие строки покойного поэта?!

Разве это бдение над покойником? Разумеется, усопший в гробу, установленном в зале Академии, был налицо, но красавец Бруно, которому даже академический мундир не прибавил солидности, плохо справлялся со своей скорбной ролью и был главным виновником того, что на бдении у его гроба так остро чувствовался недостаток траурной торжественности. Да-да, во всём был виноват сам Бруно: это столпотворение было провидчески воспето им в «Завещании бродяги трубадура Анто­нио Бруно, трижды умиравшего от избытка любви» — в этих давних, но сегодня весьма актуальных стихах поэт, издевался над смертью и предлагал устроить праздник вместо панихиды.

Именно так и произошло. На бдении лились слёзы и звучал смех, но смех, как он и просил, заглушал всхлипывания. «Ваш хрустальный хохоток я хочу услышать...» — говорил поэт — и у гроба стояли шалые, сумасбродные красавицы, «...и почувствовать опять жар грудей упругих...» — желал Бруно — и дамы явились на траурную церемонию в нарядных открытых платьях. Присутствующие дамы знали эту поэму, некоторые даже помнили ее наизусть — всю, каждую строфу. «Жду вас всех — тебя, что так мучила поэта, и тебя, что мельком мне улыбнулась где-то...» Он ждал их всех, и все при­шли, и в рыданиях слышался порочный отзвук стонов любви — «нежный лепет предрассветный...» Всё было так, как завещал Бруно.

Зал был полон: члены Академии, писатели, кое-кто из правительства, актеры, дипломаты, художники, никому не известные простые люди — его читатели, Ададемик Лизандро Лейте сфотографировался у изголовья гроба, произнес несколько весьма лаконичных фраз в микрофон радиорепортёра и, увлекая за собой президента, исчез в дверях приемной. Присутствующие зашушукались.

Женская прелесть уничтожила притворную скорбь, смыла с лиц фальшивую значительность. Неприкосновенными остались только искренние чувства: любовь красавиц, строем проходивших мимо гроба, уважение коллег, среди которых были его верные друзья, восхищение читателей — многочисленных и в большинстве своем молодых. Даже запах цветов, увядших и сломанных — неизбежный на каждой панихиде предвестник скорого распада и тлена, — заглушён был пьянящим ароматом тонких духов.

### СУХИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ПОЭЗИИ

Творчество Антонио Бруно критики удостаивали самыми разнообразными определениями. Но один титул сопровождал поэта всю жизнь — с выхода его первой книги, — повторялся газетами и читающей публикой и был ему дорог. Титул этот — «поэт влюблённых». «Все влюблённые знают Бруно, каждый из нас в восемнадцать лет читает его стихи, а женщины не расстаются с ними до самой смерти», — писал один критик в пространной и сочувственной статье, посвященной выходу «Избранных стихотворений». Литературоведы, не склонные высоко ставить читательское признание, говорили, что его стихи лишены глубины, что в них слишком много от анекдота, но читателей пленяла подлинная и в то же время волшебно преображенная действительность: ничем не примечательные черты повседневности, заурядные на первый взгляд события, предметы и краски — кривой переулочек и синее небо, кот на подоконнике и цветок кактуса — обретали под пером Бруно новое измерение, окутывались дыханием тайны.

Улица, утренняя роса, облака, сумерки, незнающая рассвета ночь, пейзажи, предметы, чувства — всё в этих стихах становилось неожиданным и радостным открытием. В них были жаждущие уста и прерывистое дыхание страсти, бесстыдная прелесть нагих тел, томление, яростное желание и нежность любви. Поэзия Бруно была пронизана ощущением женщины — и Бразилии: он воспевал деревья и птиц, зверей и старинные обычаи своей родины. Любовь была главной темой его творчества, и для ненависти в сердце поэта места не оставалось.

Антонио Бруно, чиновник министерства юстиции и журналист, никогда не был богат, за всю жизнь ничего не скопил, ибо тратил всё, что получал, и даже больше, чем получал. В неполные девятнадцать лет он вместе с товарищами по факультету впервые попал на каникулах в Европу. Ему показалось нелепым пробыть в Париже неделю, и потому он остался там на три года. Чтобы заставить его вернуться, отец перестал высылать ему деньги, но жизнерадостный Бруно, жадный до всех тех удовольствий, которые так щедро предлагает Париж, выдержал это испытание. Друзьям он рассказывал по секрету, что, помимо прочих занятий, зарабатывал себе на жизнь почтенным и выгодным ремеслом жиголо: был платным партнёром по танцам — и не только по танцам — престарелых миллионерш, «восхитительных старушек». Завсегдатай литературных кафе и книжных развалов на набережной Сены, он в совершенстве научился разбираться в букетах вин и сортах сыра, а вернувшись в Бразилию, привёз в чемодане несколько экземпляров своей первой книги, «Танцор и цветок», которая имела оглушительный успех.

При первой же возможности Бруно вернулся в Париж. Когда ему было уже за сорок, он снова провёл там два года — благодаря тому, что тогдашний министр иностранных дел пристроил его в посольство, где он получил какую-то должность с весьма неопределенным кругом обязанностей. Опьянение Парижем не проходило. Бруно считал этот несравненный город высочайшим достижением человеческого гения, колыбелью гуманизма, красоты, свободы. Вскоре он посвятил Парижу целый сборник стихов, озаглавленный «Париж-любовь-Париж», и предпослал ему в качестве эпиграфа строку из стихотворения Жака Превера, с которым когда-то свёл знакомство и подружился: «Tant pis pour ceux qui n'aiment pas ni les chiens, ni la boue»[[6]](#footnote-6).

Один просвещённый критик назвал Бруно «бразильским Превером» — это суждение было довольно надуман­ным, потому что в отличие от французского поэта наш герой был начисто лишен интереса к социальной стороне действительности и к политике. Бруно политикой не ин­тересовался вовсе, и даже когда губернатор его штата, желая использовать в своих целях известность поэта, предложил ему место в палате депутатов, отказался. Он ничем не желал себя связывать. Диктатура Нового государства Бруно не нравилась, но своего отношения к ней он никак не высказывал. В то время он готовил свою «тронную» речь для вступления в Академию. Бруно был избран за несколько месяцев до событий 1937 года. Наголову разгромив своих соперников — красноречивого парламентского депутата и знаменитого врача, грешившего литературой, — он занял место, освободившееся после смерти одного старого генерала, пламенного автора сухих и серьёзных исследований о наречиях и обычаях бразильских индейцев.

Интеллигенты левого толка не раз упрекали Антонио Бруно за то, что в нашем несправедливом и тревожном, надвое расколотом мире он умудряется жить без чётких: политических убеждений, тогда как другие поэты поплатились за них изгнанием или жизнью.

### ПОЭТ ПОКИДАЕТ СВОЮ ХРУСТАЛЬНУЮ БАШНЮ И ГИБНЕТ В ОККУПИРОВАННОМ ПАРИЖЕ

Но когда нацисты начали войну, Бруно покинул свой кокон. Он чувствовал — его миру, его цивилизации, его свободе, всему, что он любит, угрожает опасность. «Я покинул мою хрустальную башню, потому что хрусталь сделался мутным и тусклым, и сквозь него я ничего не видел» — такую самокритичную речь произнёс он в Академии. С этой минуты поэт со всё возрастающей страстностью следил за развитием событий, всей душой сочувствуя борьбе с нацистами.

Ни одной минуты не сомневался он в победе союзных войск. Даже в тот день, когда немцы вступили на территорию Франции, он продолжал утверждать, что французские солдаты непобедимы. Капитуляция поразила его как гром среди ясного неба. Всё рухнуло. Бруно увидел, что его прежний мир лежит в руинах. Надежда сменилась отчаянием. Бруно полностью — и уже навсегда — утратил уверенность в себе и вкус к жизни. После падения Парижа он свалился с инфарктом.

Он создал свою поэму ещё на больничной койке, впер­вые в жизни изменив привычным любовным стихам: в строфах его новой поэмы громыхало железо и лилась кровь, осмеивался, поносился и проклинался Гитлер вместе со своими приспешниками. Антонио Бруно, раздавленный унижением, которое выпало на долю его любимого города, родины цивилизации и гуманизма, погибших под немецким сапогом, нашёл в себе силы восстать с одра болезни, побороть безнадёжность и отвращение к жизни, провозгласив пришествие скорого и неизбежного часа освобождения, — часа, когда Париж, радость и любовь воскреснут из небытия.

«Песнь любви покоренному городу» оканчивалась пламенным призывом к борьбе и победе. Невозможно представить, что эти строки создал человек, изверившийся в жизни.

Нужно добавить, что финал поэмы был полностью переделан Бруно. В первом варианте герой прощался с Парижем и кончал жизнь самоубийством, потому что не мог жить в этом чудовищном мире. Но когда Антонио Бруно увидел слёзы на глазах у той, кто тайно, пренебрегая добрым именем и безопасностью, приходила навещать его, озаряла окружавшую его тьму, отгоняла прочь страдание и смерть, он понял, что готов сделать для этой женщины всё, притворился, что разделяет её воинственную и непреклонную уверенность в победе, и перечеркнул жестокие строки, проникнутые ощущением безнадёжного разочарования. На их место пришли другие слова — слова сопротивления и победы. Да, эти свободно льющиеся, наполненные горячим чувством, героические строки создал Антонио Бруно, но вдохновляла поэта его хрупкая и бесстрашная гостья, словно именно она впервые произнесла их своим нежным голосом с заморским акцентом. Бруно доверил ей экземпляр поэмы, и она тайно сделала несколько первых машинописных копий.

Поэму собирались публиковать в литературном приложении к одной из крупных газет Рио-де-Жанейро, но цензура запретила её как «оскорбительную по отношению к главе дружественного государства». Несмотря на это, поэма получила широчайшее распространение — ее передавали из рук в руки, печатали на мимеографе, разбрасывали как листовки. В кратчайшие сроки поэма стала известна в самых отдаленных уголках страны.

Но даже успех «Песни любви покоренному городу» не смог поднять дух её создателя. Строки поэмы, которые вселяли надежду в сердца тысяч бразильцев, в его усталом сердце отзвука не находили. Когда редактор «Перспективы» — о существовании этого журнальчика Бруно до той поры даже не подозревал — попросил разрешения напечатать это проклятое властями творение «завербованного» поэта, тот только пожал плечами:

— Публикуйте, если хотите и если вам разрешат. Что могут стихи против пушек и зверств? В мире нет больше места для поэзии. Нет и не будет.

Через десять дней, когда солнечный утренний свет озарил потерянную навеки парижскую мансарду, поэт Антонио Бруно погиб.

### ВЗДОХ, РОЗА, ПОЦЕЛУЙ, ДАМА В ЧЁРНОМ, ПОЛКОВ­НИК И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ АНТОНИО БРУНО

— Жалко, музыки нет, а то бы потанцевали... — чуть заметно улыбнувшись, сказал местре Афранио.

Его собеседница — дама со следами былой красоты на увядающем лице — вздохнула, припомнив бал-маскарад.

Знаменитый и ядовитый Эвандро Нунес дос Сантос добавил хриплым голосом старого курильщика:

— Я нисколько не удивлюсь, если Антонио сейчас восстанет с одра и закажет шампанского для всех. Такие штуки он частенько проделывал в Париже.

Оба старых писателя были взволнованны. Вокруг гроба, в котором суждено навеки упокоиться поэту Антонио Бруно вместе со своей славой неутомимого прожигателя жизни и неотразимого соблазнителя, вихрем вились женщины. Сколько же их набежало?! Белокурые, черноволо­сые, а вон одна рыжая и с веснушками... Элегантные сорокалетние дамы и едва расцветшие девушки, девочки в форменных школьных платьицах, записывавшие стихи покойного в тетрадки по математике, великая актриса и швея с розой в руке.

Робко приблизившись, она положила на золотое шитьё академического мундира розу — медную розу, медовую розу, юную розу-бутон. Глаза великой артистки увлажнились, она нагнулась и поцеловала покойника в холодный лоб, потом, прощаясь, долгим взглядом посмотрела на романтический профиль — «романтический профиль бедуина», как писал сам Бруно, выводя свою родословную от арабских шейхов. В его жилах действительно текла кровь мавров. Его дед по матери, Фуад Малуф, в один прекрасный день отрёкся от ножниц и сантиметра и стал сочинять стихи по-арабски. Это от воспоминаний о прошлом, о другом прощании стала так бурно вздыматься грудь дивы, и актриса отошла от гроба, охваченная страстью — той давней, первой, той единственной, быть может, страстью, которая навсегда оставила свой след в её жизни, столь богатой любовными приключе­ниями.

Вокруг двоих друзей столпились люди. Эвандро Нунес дос Сантос достал платок, протёр стёкла пенсне, вытер воспаленные глаза. Хотя истории, которые он рассказывал, произошли сравнительно недавно, всего несколько лет назад, воспринимались они как мифы какой-то исчезнувшей цивилизации:

— Жалованье в посольстве он получал ничтожное: ведь Бруно даже не состоял в штате, но все относились к нему, как если бы он был послом. В то время я провёл в Париже три месяца, и мы виделись с Бруно ежедневно. Не знаю, любил ли кто-нибудь этот город сильнее. Париж принадлежал ему. Каким удивительным другом был этот человек!..

Великая актриса, ещё не оправившись от волнения, присоединилась к их кружку.

— Моей сценической карьерой я обязана ему. Это он вывел меня на сцену... Не знаю человека благородней... — Она была обязана Бруно значительно большим и с радостью, если бы только было можно, рассказала во всех подробностях, чем именно.

Афранио подтвердил:

— Он всегда был верным другом... — Улыбка погасла на его дрожащих губах. — Его убила война, его погубил Гитлер. Не далее как в четверг он получил письмо от своих французских друзей — мужа и жены. Они были безутешны: их единственного сына, двадцатилетнего мальчика, арестовали как заложника, а потом расстреляли... Бруно сказал мне тогда: «Больше не могу...»

Он умолк и задумался над тем, какой горькой вдруг сделалась жизнь, как сузились ее горизонты. Глаза его обежали присутствующих и вдруг заметили... Да, вопреки его советам она все-таки явилась на бдение и сейчас шла к гробу — вся в чёрном, под траурной вуалью, наполовину скрывавшей её лицо... Никогда ещё не была эта женщина так хороша. Стараясь не привлекать к себе внимания, она приблизилась к гробу. Афранио наблюдал за ней. Выпрямившись, судорожно прижав к груди длинные белые пальцы, она постояла у изголовья и скрылась за спасительный занавес балдахина. «Это настоящая богиня, друг мой Афранио, небожительница, я её не стою... Кто я рядом с нею? Жалкий фигляр...»

Взмокший от пота, взволнованный академик Лизандро Лейте появился в дверях, пересёк зал, выглянул на ули­цу. Президент Академии Эрмано де Кармо подошел к кружку Афранио и присоединился к восхвалениям покойного. И вдруг, перекрывая гул разговоров, отчетливо и ясно раздался звучный, гибкий голос великой актрисы, негромко читавшей стихи Бруно, быть может, ей и посвященные. Лизандро Лейте прислушался было к чтению, но вдруг на полуслове нырнул в дверь.

Он издали узнал этот твёрдый, размеренный, строе­вой шаг — эту поступь не спутаешь ни с какой другой, штатские так не ходят. Полковник Агналдо Сампайо Перейра, весь траурно-парадный, промаршировал к возвышению, звонко щелкнул каблуками, стал навытяжку перед мертвым академиком, отдал ему честь (он несколько затянул эту процедуру, чтобы репортёры успели его сфотографировать).

— Ах ты чёрт... — простонал Афранио Портела.

Внезапно воцарилось молчание — ледяное молчание. Замолк голос актрисы, оборвалась строчка стиха. Полковник, вытянувшись в струнку, простоял так целую минуту, показавшуюся всем бесконечной, потом сделал полуоборот налево, поздоровался с президентом, сказал академикам что-то насчёт «невосполнимой потери для нашей словесности», поклонился кое-кому из важных лиц. Рядом с ним тотчас оказался его торжествующий покровитель, знаменитый юрист Лизандро Лейте.

Президент наконец заметил настойчивые знаки, которые подавал ему Лейте, и скрипя сердце пригласил полковника подняться на второй этаж. Они направились к лифту. Лейте удалось увлечь за собой двоих почтенных академиков. Остальные колебались, не зная, идти им или нет.

— У нас появился претендент, — сказал один из «бессмертных».

— И ещё какой! — добавил другой.

— Ах ты чёрт... — повторил Афранио.

Эвандро Нунес дос Сантос снова надел пенсне.

— Это невозможно. — В голосе его слышался не только протест, но и ярость.

Дама в чёрном покинула своё убежище за балдахином и, потеряв всякое представление о благоразумии, направилась к друзьям. Она была растерянна и разгневанна: что означает приход этого господина на бдение? Может быть, у него есть какие-нибудь виды?! Та оживлённая, почти праздничная атмосфера, о которой писал Антонио Бруно в своем завещании, исчезла. Искренняя боль и непритворная скорбь сменились фальшивым соболезнованием, маской благопристойного траура. Затих оживлённый говор, оборвался смех, смолкли звонкие голоса, не слышно стало прорвавшегося вдруг рыдания, произнесённой шёпотом строчки любовного стихотворения. Сумасбродный фигляр исчез из гроба — его место занял готовый к погребению труп академика. Настало время отрепетированных фраз, торжественных речей, нахмуренных лиц, погребального запаха свечей и венков. Пришёл час холодной тишины. Церемониал панихиды наконец-то вступил в свои права.

## II

## БИТВА ПРИ МАЛОМ ТРИАНОНЕ

### УЖИН С ЛЁГКИМ ВИНОГРАДНЫМ ВИНОМ

В выборе блюд полковник всецело положился на знаменитого юриста и литератора Лизандро Лейте — тот был признанным гурманом, ресторанным завсегдатаем, любил поесть вкусно и обильно, особенно если расплачиваться по счету предстояло не ему, — однако вино заказал сам, красное вино из Рио-Гранде-до-Сул.

— Это просто чудо, живой виноград.

По причинам идеологическим и географическим Лизандро тяготел к другим сортам: он надеялся осушить несколько бутылок рейнвейна — благородного напитка воинственных германцев, — но пришлось смириться и пригубить кисловатого чуда.

— За успех ваших начинаний!

— Спасибо. Как вам вино?

— Нектар! («Что за гадость! Неперебродивший сок!»)

Казалось, в штатском полковник стал ниже ростом и утратил толику своей значительности, однако Лизандро Лейте знал, что видимость обманчива: власть, которой обладает его сотрапезник, не зависит от того, в каком он костюме. Стоит лишь взглянуть на соседний столик, за которым занимают выгодную стратегическую позицию дюжие молодцы — тела полковника хранители. И не­сколько часов назад, наблюдая на кладбищенских аллеях за реакцией академиков на известие о выдвижении кан­дидатуры полковника, Лейте мог убедиться, как велика его власть. Ни один из «бессмертных» не осмелился прямо возразить против намерения Перейры баллотиро­ваться, хотя многие из них не смогли скрыть своего отвращения. Поморщились, а всё же скушали, либералы проклятые! Необходимо будет принять меры, чтобы при голосовании не оказалось воздержавшихся — чистые бюллетени омрачат радость победы.

— Вы — единственный претендент, теперь это уже ясно. Ну а что касается единогласного избрания, то я предприму необходимые шаги: уговорю самых артачливых, всех этих Би-би-ситиков.

— Кого?

— Так мы называем тех, кто не отлипает от приёмника, слушая передачи Би-би-си из Лондона. Не стану скрывать, что наша Академия сильно заражена проанглийскими настроениями. Но ваш вес, дорогой полковник, и мой опыт...

За едой он сообщает о первых итогах — и итоги эти обнадеживают: полковник даже отодвинул прибор, чтобы в полной мере насладиться похвалами в свой адрес и оптимистичными прогнозами,, которых наслушался Лейте на кладбище.

— А президент? Мне показалось сегодня, что он чего-то не договаривает...

— Поймите, друг мой, что президент Академии не имеет права кричать на всех углах, кому он отдаёт предпочтение. Положение, как известно, обязывает. Пе­ред вашим приходом я с ним разговаривал, и довольно долго. «Да, — сказал он, когда я сообщил ему о вашем намерении, — Академии нужен представитель вооружённых сил». Раз он пригласил вас на второй этаж вместе с академиками, значит, ваша кандидатура официально принята и находится под покровительством президента. Скажите мне за это спасибо. Не знаю, заметили ли вы, что на бдении было ещё не меньше трех возможных претендентов, но ни один не удостоился такой чести. Даже Раул Лимейра...

— Ректор университета?

— Вот именно. Его уже давно прочат в академики. Серьёзных претендентов на место в Академии хватает... Впрочем, это не ваша печаль — предоставьте мне заниматься Лимейрой: я его заверю, что следующее свободное место будет принадлежать ему. Бедняга Персио долго не протянет... — он понизил голос, — рак лёгких. — Лизандро принялся перечислять возможные вакансии, и в этом бюллетене о состоянии здоровья академиков было нечто могильное. Обзор завершился следующим сообщением: — Даже Афранио Портела согласился со мной, что ваши позиции неуязвимы, а ведь оп известен как непримиримый враг режима и, между нами говоря, терпеть вас не может.

— Чем я отплачу вам, сеньор Лейте, за все ваши хлопоты? Поверьте, неблагодарность не входит в число моих пороков, а чувство нежной дружбы, которое я к вам питаю, послужит залогом... — и так далее.

Поскольку на «этом великолепном и изысканном ужине» (выражение принадлежит юристу, а он в таких делах разбирается) зашла речь о дружбе, то кандидат в Академию и его покровитель сменили церемонное «вы» на братское «ты», отставили чины и титулы и стали называть друг друга по имени. Когда же речь зашла о грядущей благодарности полковника, академик еще раз заявил, что действует совершенно бескорыстно, движимый чистыми чувствами искреннего восхищения литературным творчеством Перейры, полного понимания и одобрения его политической деятельности.

Академик прекрасно знал, что вожделенное место в Высшем федеральном суде он сможет занять лишь в середине будущего года — такова воля министра юстиции Пайвы, который, впрочем, — член Академии и испытан­ный друг. Это произойдёт примерно в то же время, когда он, Лейте, на торжественной церемонии представит «бессмертным» нового собрата и обратится к нему с по­хвальным словом. Потому сеньор Лизандро и не торо­пился.

И на панихиде, и во время похорон он чувствовал, что упоминание имени полковника вызывает у многих глухую злобу, тщательно скрываемое недовольство: так что выборы потребуют больше хлопот, чем предполагалось вначале. Главная задача — не допустить выдвижения других кандидатур. Чтобы заслужить благодарность полковника — именно ту благодарность, какая требуется Лейте, — надо, чтобы, он прошел в Академию «на ура», а не с ничтожным перевесом в сколько-то там голосов.

— В следующий четверг состоится торжественное заседание, посвящённое памяти Бруно, мы будем распинаться о его заслугах, а потом президент объявит о вакансии. Уже назавтра ты должен будешь прислать письмо, в котором официально уведомишь президента о намерении баллотироваться. Я хочу, милый Агналдо, чтобы твое избрание прошло триумфально.

Друзья ещё раз сдвинули бокалы с красным вином из Рио-Гранде-до-Сул.

— Живой виноград!

— Нектар!

За соседним столиком восстанавливали силы ражие молодцы — личная охрана полковника. Их обед будет оплачен из сумм, отпущенных на борьбу с коммунизмом. Лизандро отводит взгляд — даже ему зрелище этих мускулистых обжор не доставляет удовольствия. Попозже надо будет тактично намекнуть полковнику, чтобы он приказал своим телохранителям вести себя чуточку потише... Пусть оставляет их у подъезда, когда будет приезжать с визитом к академикам или в Малый Трианон на заседания. А то вчера на панихиде эти головорезы при входе в лифт чуть не задавили президента, а один из них так отпихнул посла Франселино Алмейду, старейшего члена Академии, единственного ныне здравствующего из сорока основателей, хилую, высохшую мумию, что тот после этого слег в постель. Ну а когда он оправится, подумал Лизандро Лейте, то, разумеется, проголосует за полковника.

### ДЕДУШКА И ВНУКИ

Эвандро Нунес дос Сантос, опираясь на трость, пересёк обсаженную фруктовыми деревьями аллею маленького парка и присел на скамейку под манговым деревом. Высоко над холмом Санта-Терезы горели в бескрайнем ясном небе звёзды, но и кроткая красота ночи не могла вселить мир в душу старого писателя. Не разогнали его уныния и внуки.

— Сегодня я впервые в жизни пожалел, что так долго живу на свете.

«Он сильно сдал за это время: просто-напросто хро­моногий старичок», — встревоженно думает Педро, отходя поглубже в тень. Изабел берёт руку деда и подносит её к губам, потом садится на траву у его ног, кладёт голову на острые стариковские колени, пытается улыбнуться. «Что тут говорить?» Педро из темноты смотрит на ссутуленные плечи, опущенную седую голову; печальные слова деда болью отзываются в его сердце: юноша привык к тому, что Эвандро крепок, как утёс, и стареть не желает. Внуки понимают, почему так печален их дед: поэт Антонио Бруно был дорог и им. Во время похорон Изабел, его крестница, схватилась за руку брата, чтобы не упасть.

Педро помнит тот день (ему тогда было семь лет, а сестре — пять), когда дед привёз их попрощаться с родителями, нелепо погибшими в автомобильной катастрофе. Увидев в то утро тела единственного сына и любимой невестки, Анита, жена Эвандро («жена, сестра, мать и любовница»), навсегда разучилась улыбаться и протянула ещё несколько лет только потому, что муж неустанно ей повторял: «Мы должны вырастить детей». И она их вырастила. Педро было шестнадцать, Изабел — четырнадцать, когда она, словно почувствовав, что внуки уже могут обойтись без неё, что трудное её дело сделано, сдалась под натиском жестокой болезни. «Знаешь, миленький, я скоро умру», — сказала Анита своему спутнику жизни.

Эвандро знал, что жена неизлечимо больна, что дни её сочтены, но всё-таки просил её: «Не уходи раньше меня, я не хочу быть никому не нужным стариком...» Что на свете печальней бездомного пса, мыкающегося по улицам в ожидании ласкового слова или приветливого жеста? А что тогда сказать о неприкаянном старике? Анита напоминала ему о внуках, которые уже не нуждались в ней, но ещё очень и очень зависели от деда. «Ты никогда не будешь одинок: у тебя есть внуки, у тебя есть друзья».

Анита была права: Эвандро не стал печальным и бесполезным старцем, одряхлевшим бесхозяйным псом. У него были внуки, были друзья, была работа. Страницу за страницей исписывал он своим мелким почерком (пишущих машинок Эвандро не признавал), изучая и анализируя становление и развитие бразильской нации. За эти годы он выпустил в свет три книги — они венчали его многолетний труд, труд исключительного значения. Эвандро Нунес дос Сантос вдребезги разбивал солидные концепции, уничтожал предвзятость и предрассудки, выдвигая смелые идеи, потрясая основы социологии и исторической науки. Он не был приверженцем ни одной идеологии, оставаясь либералом и вольнодумцем с каким-то анархическим взглядом на мир. Грубоватый и рассудительный старик обладал неотразимым даром убежде­ния и умел повелевать. Им восхищались, его любили, а кто не восхищался и не любил, тот боялся. «Неизвестно, какой фортель он выкинет через минуту», — говорили про него.

В тишине ночного сада, под звёздным небом, спустя несколько часов после похорон поэта Антонио Бруно внуки старого Эвандро пытаются развеселить и ободрить деда.

— Ох, не понравился бы ты сейчас Бруно... — с бес­покойством замечает Педро.

— Правда, дедушка, миленький... — После смерти Аниты Изабел тоже стала называть его «миленький», словно получила от бабушки в наследство.

— Да я не из-за Бруно... К его смерти я готовил себя еще с того дня, когда с ним случился первый ин­фаркт. Я из-за другого не нахожу себе места...

— Из-за чего же?

— Вы ведь знаете, как его мучила эта война, как его ужасал нацизм. Он и умер-то, когда потерял надежду... Ну так вот, известно вам, кто станет его преемником в Академии?

— Уже появился кандидат?

— Полковник Сампайо Перейра, нацист из нацистов!

— Кто? Полковник Перейра? Вождь «пятой колонны»? Какой ужас! Этого не может быть!

— Он займёт место Бруно. Зачем я дожил до такого позора?!

По небу покатилась звезда. Раздался голос Изабел:

— Мало ли чего хочет полковник Перейра... Ты ведь не согласишься на это? Ведь не согласишься, дедушка, миленький? Ты не допустишь, чтобы так обошлись с моим крёстным?

Педро улыбнулся. На душе у него стало легче.

— Конечно, дед не допустит. Что-нибудь придумает, но не допустит.

Нет, Эвандро Нунес дос Сантос не стал неприкаянным одиноким стариком, никому не нужной развалиной, ожидающей смерти. Он поднял голову, когда Изабел повторила:

— Нужно что-то сделать, миленький!

«Ничего мы не можем сделать: этот человек — один из тех, кто нами правит, — сказал Эвандро на кладбище президент Академии, — разве осмелится кто-нибудь стать у него на пути, вступить с ним в бой?» С похорон старый Эвандро вернулся разбитым и несчастным.

— Ты прежде никогда не уклонялся от драки, дед, — услышал он звонкий голос Педро.

Да, он не уклонялся от драк — он сам их затевал. Ничего нельзя сделать? Не найдётся человека, который станет у полковника на пути? Ах, как вы ошибаетесь, сеньор президент: есть кому выступить против гнусной кандидатуры и вступиться за поруганную честь Академии, защитить осквернённую память Бруно! Забыв про свою трость, старик поднялся — высокий, худой, величественный.

— Вы правы, дети мои! Нужно что-то сделать. Пойду позвоню Афранио.

Изабел вскочила на ноги, чтобы помочь ему, но дед отстранил её. Педро смотрел, как он идёт меж тёмных деревьев. Вот тебе и хромой старичок... Внук подобрал его отброшенную трость.

### АФРАНИО ПОРТЕЛА НАМЕРЕВАЕТСЯ УЙТИ ИЗ АКАДЕМИИ

...Хрустальные люстры, фарфоровые безделушки, фаянсовые сервизы, опаловые чаши, картины мастеров Школы изящных искусств, развешанные по стенам, — всё в этой богато убранной комнате свидетельствовало об изысканном и несколько старомодном вкусе её хозяина. Ужин был накрыт при свечах. Горничная унесла тарелки: Афранио Портела, молчаливый, уставившийся неподвижным взглядом в окно (по стеклам скользили отблески фар проносившихся по Прайа-до-Фламенго машин), едва притронулся к еде. Встревоженная Розаринья — она же дона Мария до Розарио Синтра де Магальяэнс Портела — хотела предложить ему какое-нибудь лекарство, но не решалась. За сорок лет их супружества она редко видела мужа таким подавленным и угрюмым.

Антонио Бруно был им больше чем другом. Когда-то грёзящий о литературе юнец приехал в Рио поступать на юридический факультет и в один прекрасный день без зова явился к своему земляку — Афранио к тому времени уже был известным писателем, — чтобы показать ему свои стихи и рассказы. «Стихи хороши, рассказы отвратительны». Такой приговор произнёс Афранио, покуда дона Розаринья ставила на стол ещё один прибор. С того дня на целых тридцать лет появилось у Бруно своё постоянное место за этим столом. Бездетная чета Портела полюбила дерзкого школяра-поэта как родного сына. Дона Розаринья не была на панихиде, не пошла и на погребение... Уж лучше закрыть глаза, представить, что Бруно сидит за столом, говорит о Париже, рассказывает, что опять влюбился, — на этот раз окончательно и бесповоротно...

— Ты бы выпил, Афранио...

— ...коньяку. Это как раз то, что мне нужно. Распорядись, пожалуйста.

Афранио начал неторопливо и подробно повествовать о панихиде и похоронах. По общему мнению, не было в Рио-де-Жанейро более увлекательного рассказчика. «Если бы он писал так же искусно и изящно, как говорит, то стал бы первым прозаиком мира», — съязвил один острый на язык собрат по перу. Вот и неправда: творчество Афранио Портелы, хоть и было в последние годы немного оттеснено на задний план шумными манифестами модернистов и представителями «поколения тридцатых», вызывало восхищение критиков, которые видели в авторе «Аделии» смелого и проницательного летописца столичного общества двадцатых годов. На унылом фоне литературы того времени он выделялся острым психологизмом, великолепным стилем, увлекательно повествуя о нравах так называемой элиты. Первым в Бразилии он применил психоанализ, описывая чувства своих героев, вернее сказать, героинь, мечущихся между влечением и предрассудком.

Только в одной книге — в первом романе — описал он прииски и рудники своей родины. Противоборство могучих и естественных чувств, первобытная любовь, дикая девственная природа — все это так и осталось островком в море его элегантных и легковесных «городских» романов, но небольшой по объему том оказался главным в его литературной судьбе. Бесстыдная и невинная Малукинья, едва прикрытая лохмотьями, — героиня его первого романа — всё больше завладевала сердцами читателей, покуда утончённые, боязливые, замученные комплексами персонажи девяти других его книг бессильно барахтались в альковах адюльтера.

Последний его роман, «Женщина в зеркале», вышел в свет в 1928 году одновременно со «Свалкой» никому не известного тогда Жозе Америке де Алмейды, появившейся в каком-то бедном провинциальном издательстве штата Параиба. Не это ли событие побудило Афранио оставить романы и заняться публицистикой и историей литературы? Пожалуй, дотошный критик сделал слишком смелый вывод: скорей всего, это просто совпадение, потому что писатели Северо-Востока, пошедшие по следу Алмейды, получили полную поддержку и горячее одобрение Афранио Портелы. Книга о Кастро Алвесе, исследования о Грегорио Матосе[[7]](#footnote-7) и Томасе Антонио Гонзаге[[8]](#footnote-8) не позволили читателям забыть громкое имя Афранио Портелы — местре Афранио, как называли его коллеги и почитатели.

Дона Розаринья слушает красочный рассказ — он становится всё выразительней, живей и злей. Уж она-то знает, что этот рафинированный интеллигент так и остался в душе упрямым и стойким жителем сертанов. Афранио делает короткую паузу и произносит:

— Приготовься, сейчас я расскажу тебе о неслыханной подлости.

Дона Розаринья удивлена: в мягком голосе мужа зазвучало вдруг неприкрытое отвращение. Очевидно, случилось кое-что пострашнее смерти Бруно. Местре Афранио продолжает рассказ, и утончённая сеньора Розаринья воочию видит, как печатает шаг полковник Перейра, как он отдает честь и навытяжку стоит у гроба лишнюю минуту, чтобы фотографы успели сделать снимок. Всё это въяве предстаёт перед нею: она в курсе всех академических интриг и следит за перипетиями каждого избрания, а в иных даже принимает участие.

— Ты думаешь, он осмелится баллотироваться?

— Можешь считать, что он уже избран. «Свалить его невозможно», — сказал мне Лизандро Лейте на кладбище, и он прав. Ты только представь себе: похвальное слово Антонио Бруно, автору «Песни любви покоренному городу», произнесёт полковник Перейра?! Мороз по коже...

— Какой ужас! Этот... — дона Розаринья замялась, подыскивая нужное слово, но так и не нашла, — ...считает, наверно, что его сапожищи вполне подходят к мундиру академика. — Ее задумчивый взгляд скользнул по обиженному лицу мужа. — Ну а ты что собираешься де­лать, Афранио?

— Разумеется, я проголосую «против». Таких, как я, наберётся человека три-четыре. На церемонию приёма я не пойду, да и вообще после этих выборов в Академии мне делать нечего. Хватит с меня!..

Дона Розаринья своего мнения высказать не успела — появившаяся в дверях горничная сообщила, что сеньора Мария Мануэла спрашивает, сможет ли академик Портела принять её.

— Ты выйдешь?

— Нет. Без меня она будет чувствовать себя свободней. Ты, наверно, забыл, Афранио: ведь я делаю вид, что мне ничего не известно?

### НЕОБЫЧНАЯ ГОСТЬЯ

Посреди просторного кабинета, от пола до потолка заставленного книгами, стояла бледная и прямая Мария Мануэла. Отказавшись присесть, она горящими глазами пристально взглянула на Афранио Портелу — старого друга, единомышленника, поверенного всех тайн покойного Бруно. Услыхав утром по телефону, как отчаянно она рыдает, Афранио не стал её успокаивать — не нашёл слов утешения, если такие слова вообще существуют. Он подождал, пока она сама справится со своим отчаянием, и лишь тогда воззвал к её благоразумию: теперь, когда риск лишён всякого смысла, необходимо быть особенно осторожной. Он пообещал, что вскорости разыщет её и они вместе вспомнят ушедшего друга, вспомнят его смех, шутки, стихи.

— Я умоляю вас, Афранио... Пообещайте мне, что не допустите этого... Я не смогла уберечь его от смерти, но от позора вы должны его спасти... — Она говорит отрывисто, с заметным лиссабонским акцентом, голос её дрожит от волнения. — Я иностранка, я помню об этом, но границ больше нет... Война для всех одна... — Женщина в полном расцвете красоты, «тридцатилетняя богиня, спустившаяся с Олимпа», гордо вскинула голову: теперь она не умоляла, а требовала. — Фашист не имеет права наследовать Бруно. Я хочу услышать от вас, что этого не будет! Если палач, если нацист станет преемником Антонио, — она усилием воли подавила рыдание, — это всё равно что убить его во второй раз!

Подумать только — в десяти своих романах Афранио описывал чувство женщины...

— Откуда вам всё это известно?

— Я заподозрила недоброе ещё на панихиде и тогда же хотела вам сказать... А только что по радио передали сообщение... Я ведь ничего-ничего не могу сделать, а вы можете!

После ужина, как известно, местре Портела сказал жене, что, если полковника изберут — а сомневаться в этом не приходится, — ноги его больше не будет в Академии. Ему казалось тогда, что так он выразит свой яростный протест, но теперь он понимает вдруг, что этот решительный поступок — не больше, чем удобная позиция, пассивное сопротивление, которое ничем не грозит. Ему становится стыдно. Неужели он предаст друга, оставив память о нём на поругание врагам?

— Не знаю, удастся ли мне хоть что-нибудь, но я сделаю всё возможное...

— И невозможное!

— Хорошо: возможное и невозможное.

Молодая женщина по имени Мария Мануэле подошла к писателю, поцеловала его в щеку и направилась к дверям. Афранио проводил её... Что за мир! Кому придёт в голову, что супруга советника португальского посольства, дочь салазаровского министра, наследница богатого и могущественного рода — непримиримый враг режима, сторонница социализма, что ей грозит тюрьма или концлагерь?! «Боюсь, что она почти коммунистка, — сказал Бруно своему другу, познакомившись с ней. — Впрочем, коммунистка или нет, но она совершенно обворожительна и не боится ничего на свете. Я еле-еле уговорил её не бросать мужа. Она хотела уйти ко мне! Представляете, сеу Афранио, какой бы вышел скандал? Вот как я влип!»

Вернувшись в столовую, местре Афранио Портела сказал доне Розаринье, сидевшей перед приемником в ожидании передачи Би-би-си:

— Она приходила просить...

— ...о том, о чем и я. О том, чтобы ты не допустил избрания этого мясника в Академию. Кстати, мне вовсе не хочется отказываться от вечеров в Малом Трианоне, я очень люблю ваши академические празднества. А сей­час позвони Эвандро: он хочет поговорить с тобой как раз об этом деле.

Она улыбнулась мужу той заговорщицкой улыбкой, какой улыбалась, бывало, во времена своей юности, когда её миллионеры-родители ни за что не хотели выдать дочку за нищего и безвестного писателя.

### СТАРИК ИДЁТ ПО УЛИЦЕ

«Угомонись, безрассудный старик, — твердил сам себе Афранио Портела, направляясь на встречу с другим сумасбродом, Эвандро Нунесом дос Сантосом. — Кто осмелится воевать со всеми явными и тайными полициями, со спецслужбами, с победоносным воином, всемогущим шефом Национальной безопасности, которого выдвигают в Академию „живые силы страны“, за которым стоит неколебимый режим Нового государства?»

Несмотря на эти мысли, безрассудный старик, расправив плечи, продолжает шагать по улице — на губах его играет лукавая улыбка, усталые глаза блестят. «Старичок, видно, доволен жизнью», — говорит прохожий.

### КОЗЫРИ И БЛАГОРАЗУМИЕ

Покуда Афранио Портела ждёт часа условленной встречи, Эвандро Нунес дос Сантос произносит в кабинете президента Академии длинную и язвительную речь против кандидатуры полковника Сампайо Перейры, приводя неотразимые аргументы политического и морального характера:

— Это оскорбление для Академии, это вызов всем нам!

— Можно подумать, что его кандидатуру выдвинул я, что его избрание сулит мне какую-то выгоду, что мне вообще приятна вся эта история?! — Эрмано де Кармо вспоминает злосчастный вчерашний инцидент, когда двое телохранителей полковника вломились в лифт, но предпочитает не говорить об этом, чтобы не подливать масла в огонь. — Что я могу сделать?

Вопрос остаётся без ответа. Эвандро Нунес дос Сантос бормочет, что нужно обязательно что-нибудь предпринять... Президент продолжает:

— По уставу Академии у кандидата должна быть опубликована по крайней мере одна книга — у полковника их больше десяти, в том числе сборник стихов. Вам это известно? Я намекнул Лизандро, что некоторые академики подумывают о Фелисиано, считают, что преемником Бруно должен стать крупный поэт. А он тут же мне сообщил об этой книжке стихов и поклялся, что как поэт его протеже ничем не хуже Фелисиано или Бруно. Какие-то юношеские романтические стишки... Даже это они предусмотрели! У них все козыри!

— Ранние стишки — не такой уж козырь...

— Зато остальные каковы! Вы бы видели, как Лизандро выкладывал их передо мной один за другим: «Представитель вооруженных сил» — раз! «Занимает один из важнейших постов в государстве» — два! «Влияние его огромно, а время сейчас сами знаете какое»... — три! И самый главный довод: это место со времен основания Академии до предшественника Бруно включительно всегда занимал военный. Нужно восстановить традицию и прочая, и прочая... Ей-богу, я не вижу выхода. Если придумаете что-нибудь, дайте мне знать. Я ничего не могу!..

— Как это так? Вы же сами сказали: выдвинуть Фелисиано. Вот и выход.

— Неужели вы верите, что он осмелится стать на пути у Перейры? Я не верю. Скажу вам прямо: довод насчет того, что это место принадлежало и должно принадлежать армии, — весьма серьёзен. В принципе я поддерживаю эту инициативу: в Академии должны быть представлены все слои общества и социальные группы.

— Что касается армии как социальной группы...

— ...то на этот счёт существуют разные точки зрения, не правда ли? — закончил за него президент, который не хочет брать на себя никаких обязательств.

Эвандро Нунес дос Сантос допил кофе, поставил на стол пустую чашку. Афранио задерживается, и он не знает, как развязать этот узел. В отличие от президента Эвандро обязательств не боится:

— Во всяком случае, на мой голос этот мерзавец может не рассчитывать.

### ЗАГОВОР НА ФАЙФ-О-КЛОКЕ

Афранио Портела и Лизандро Лейте, подошедшие с разных сторон, встретились у подъезда Малого Трианона. Щекастое лицо юриста сияет.

— О том, что Агналдо выдвинул свою кандидатуру на выборы, будет сообщено в газетах и по радио.

Ликующий Лейте называет всесильного полковника запросто, по имени, — знай наших! Он не говорит, откуда эти сведения, но Афранио без труда догадывается: так же, как и он сам, Лизандро времени зря не теряет.

Они вместе входят к президенту, Лейте валится в кресло, Афранио торопится увести из кабинета костлявого гуманитария, пока тот со свойственной ему откровенностью не успел высказать всё, что «он думает об этой пухлой подлизе».

— Пойдем-ка, старина, в «Коломбо», выпьем чаю, посекретничаем на свободе. Подальше от Лизандро, поближе к красивым женщинам! Пусть глаз порадуется!

Афранио частенько захаживал в «Коломбо» вместе с покойным Бруно, и сейчас он рассказывает Эвандро о пристрастиях и вкусах покойного. Роман поэта с хорошенькой портнихой, сидевшей у окна своей мастерской на втором этаже в доме напротив, вдохновил его на создание забавного и трогательного рассказа «Пятичасовой чай» — за те десять лет, что прошли после выхода «Женщины в зеркале», Портела только однажды вернулся к беллетристике.

Усевшись за столик в кондитерской, Эвандро, всё еще пребывающий в отвратительном настроении, последними словами поносит президента, который «даже не скрывает своего благожелательного отношения к проискам Перейры».

— Благожелательного, ты сказал? И это после пинка, который он вчера получил?

— Какого пинка?

— Потом, потом... Сейчас расскажи-ка мне поподробнее, что тебе говорил Эрмано.

— Говорил, что нужно восстановить традиции, и потому он будет за представителя армии.

— Он имел в виду представителя армии вообще или назвал конкретное имя — полковник Перейра? Агналдо, как именует его теперь, захлебываясь от восторга, Лизандро.

— Вообще.

— Тут есть некоторая разница, куманёк. — Афранио и Розаринья крестили Алваро, сына Эвандро. — Открою тебе страшную тайну: я тоже за представителя армии. — Он хитро улыбнулся.

Иногда Эвандро раздражает его друг и кум — особенно если дело идёт о вакансиях в Академию. Оба они всегда поддерживают одного кандидата, но во время предвыборной борьбы ведут себя совершенно по-разному. Эвандро трубно и гласно воздает хвалу своему протеже, превозносит его достоинства, спорит, доказывает, горячится, а Афранио действует тайно, скрытно, незаметно, интригует в кулуарах Академии и считается самым опасным противником. Даже сейчас, когда возникла реальная угроза избрания Агналдо Геббельса Перейры (сам полковник печатно заявлял, что гордится прозвищем «бразильский Геббельс», — прозвищем, которым враги народа думали унизить и оскорбить его), Афранио выглядит на удивление невозмутимо. Он вовсе не рассержен — напротив: его как будто забавляет всё происходящее — и он даже потирает руки от удовольствия. Эвандро нетерпеливо требует:

— Да объясни же наконец, что ты задумал, а то от ярости я совсем поглупел.

Местре Афранио во всех подробностях рассказывает о своей кипучей деятельности. Время от времени он прерывает повествование: то раскланяется со знакомым, то обратит внимание Эвандро на проходящую мимо женщину, если, конечно, она достойна этого внимания. Он не терял времени даром (впрочем, Лизандро тоже). Вчера, переговорив с Эвандро по телефону, он позвонил нескольким академикам и обменялся с ними впечатлениями. Он всегда встаёт спозаранку и утром успел наведаться по крайней мере к четверым коллегам и позавтракать с пятым — Родриго Инасио Фильо. На встречу же с Эвандро он опоздал потому, что заходил к бедному Франселино, так жестоко пострадавшему (вкупе с президентом Академии) от энергичного пинка охранника. В результате всех этих визитов и телефонных перегово­ров у него сложилось некоторое представление о выборах:

— Упоминание имени полковника встречает протест...

— Да о нём слышать не хотят! — Эвандро тоже успел кое с кем повидаться.

— Не надо преувеличивать, мой дорогой, останемся реалистами. Разумеется, полковника не любят, некоторые просто терпеть не могут, и немудрено: у него дурная слава. Он готов заподозрить в крамоле самого господа бога Иисуса Христа. Родриго мне рассказал, что на пасху цензура запретила печатать в «Ревиста дос Сабадос» Нагорную проповедь. Редактор Жиль Костело обратился в ДПП — он думал, что запрет касается только иллюстрации: они дали модернистский рисунок Портинари, — и чуть с ума не сошел, когда выяснилось, что запрет наложен на евангельский текст. Какой-то чиновник для очистки совести сообщил ему, откуда исходил приказ о запрещении — от полковника Перейры. Родриго своими ушами слышал эту историю от самого Жиля.

— Кто же станет голосовать за такого негодяя?

— Не обольщайся. Несмотря на всё это, он будет избран. Если, конечно, мы с тобой не примем мер. Сморщатся от омерзения, как сказал мне Алкантара, но проголосуют. Лизандро далеко не глуп, и сейчас он не блефует. Едва я услышал о происшествии с Франселино, как тут же помчался к нему. Первое, что я увидел, войдя, была неимоверных размеров корзина с фруктами: яблоки, груши, виноград и — визитная карточка полков­ника Перейры с приписанным от руки извинением. Почерк, впрочем, был нашего дорогого Лизандро. — Он снова улыбнулся. — От нас потребуется дьявольская ловкость, Эвандро! Дьявольская! — повторил он уже серьёзно. — Нужно отыскать другого кандидата.

— Ну так у нас есть Фелисиано, чего ж лучше? Признанный поэт, все его любят — и стар и млад. К тому же превосходный человек.

— Этого мало, куманёк. Нам нужен кандидат, за ко­торого академики не побоялись бы проголосовать. Нам нужен кандидат, которому полковник Перейра, человек действительно могущественный и в средствах не стесняющийся, никак не сможет навредить. А навредить он может... Так что о штатском нечего и думать. Надо найти военного, Эвандро, и притом чином выше Перейры. Он кто — полковник? Значит, нам нужен генерал.

Эвандро, сам человек сугубо штатский и к тому же автор прогремевшей на всю Латинскую Америку книги о пагубном воздействии милитаризма на страны континента, возмутился:

— А-а, теперь и ты заводишь эту песню о поруганной традиции?

— Да не в традиции дело! — Афранио стал серьёзен. — Нужно воспрепятствовать тому, чтобы человек, за­пятнавший себя нацизмом, опозоривший себя пытками политических заключенных, травлей писателей и журна­листов, человек, во всём противоположный нашему Бру­но, который и умер-то потому, что не мог вынести всех этих ужасов, занял его место в Академии, сидел на заседаниях рядом с нами, стал нашим коллегой...

Минуту стояла тишина. Эвандро раздумывал. Потом кивнул.

— Да. Ты прав.

— Конечно, прав! За штатского проголосуют четыре-пять человек: ты да я, да Родриго, да, может быть, еще... — Он назвал два имени. — А вот если мы найдём и протащим генерала, если мы как следует побегаем и пошевелим мозгами, то вполне можем сорвать банк! Итак, срочно требуется генерал, издавший хотя бы одну книж­ку, противник нацизма и Нового государства. Генерал, который сможет выстоять против полковника Перейры, Ты согласен со мной?

— Согласен-то согласен... Но где же взять генерала, который отвечал бы всем этим требованиям? Нет такого генерала.

— Найдём. Ты, друг мой, склонен к преувеличениям. По-твоему, кто в мундире, тот, значит, уж и не человек. Среди военных много людей порядочных и честных, настоящих демократов. Может быть, их даже большинство. Ну а теперь слушай историю о том, как телохранители полковника... — И он заливается смехом, ещё не начав рассказывать. Академик Афранио Портела если веселится, так уж веселится: он умеет брать от жизни все, что она может дать.

### ГЕНЕРАЛ ЖДЁТ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Генерал Валдомиро Морейра нетерпеливо отбрасывает газету, смотрит на часы, встаёт с кресла, пересекает сад, входит в комнату. Непорядок! Так он и знал: Сесилия висит на телефоне, ведёт бесконечный разговор с возлюбленным. Проклятый зубодёр! И без него голова кругом!..

— Да ну тебя, перестань! — кокетливо хохочет в телефон Сесилия.

— Сесилия! Прекрати!

От раскатов генеральского голоса кокетливый смех стихает. Зажав трубку ладонью, непослушная дочь про­сит:

— Сейчас, сейчас, папа, подожди минуточку!

— Клади трубку!

— Сию секундочку, папа!

Услужливый Сабенса обещал позвонить после того, как он поговорит с доктором Феликсом Линьяресом и добьётся столь необходимого генералу соглашения. Их встреча должна была произойти перед обедом, в клинике Липьяреса, где плодовитый автор романов на библейские темы принимает пациентов и решает вопросы, связанные с Академией словесности Рио-де-Жанейро, президентом которой его единогласно избирают уже в пятый раз. За завтраком генерал строго-настрого запретил жене и дочери занимать телефон после десяти утра: обе способны болтать часами — дона Консейсан жалуется на рост цен, Сесилия клянется в любви.

Клодинор Сабенса, составитель «Антологии португало-бразильской литературы», сборника «Писатели Рио-де-Жанейро», а также автор нескольких учебников грамматики для младших классов, был горячим поклонником литературного творчества генерала — и особенно его статей в защиту чистоты родного языка, — а потому успешно и плодотворно вел агитацию в его пользу среди академиков. Сложилась благоприятная для генерала ситуация, потому что второй кандидат в столичную Академию, Франсиско Ладейра, своей славой был обязан не столько сомнительных достоинств сонетам в духе «парнасцев», сколько ядовитым и хлестким эпиграммам. Безжалостно высмеивая собратьев по перу, нападая на них в тёмных окололитературных закоулках, он тем не менее вознамерился попасть в члены столичной Академии и усердно вербовал сторонников, прикидываясь безгрешным, как ангел. Исход борьбы зависел от мнения президента.

Доктор Феликс Линьярес считался светилом в медицинском мире, среди его многочисленных пациентов было немало людей богатых и влиятельных, и это обстоятель­ство гарантировало возглавляемой им ассоциации разного рода льготы, пожертвования и субсидии, а ему самому — офис (собственность государства), возможность издавать (бесплатно, хоть и не всегда вовремя) свой журнал, а также статьи и даже книги академиков (упомянутый выше сборник «Писатели Рио-де-Жанейро» печатался на государственный счет). Кроме того, в распоряжении президента находились двое служащих: курьер и секретарша — молодая, бойкая и миловидная. Все вышеперечисленные выгоды делали членство в Академии весьма заманчивым, и, хотя «бессмертие» академиков не простиралось дальше границ штата Рио-де-Жанейро, борьба каждый раз велась не менее ожесточенная, чем при выборах в «Большую Академию».

Генерал был встревожен и раздражён из-за того двусмысленного положения, в котором находился уже довольно давно. Франсиско Ладейра был не только ядовитый насмешник и бездарный поэт, но и редкостный ловкач. Поливая помоями весь свет, он, однако, ухитрялся ни разу ничем не задеть почтенных героев библейских романов, сочиненных доктором Линьяресом, и эта необычная сдержанность растопила лёд в сердце президента. Все эти интриги и заговоры весьма беспокоили генерала.

Отогнав дочь от телефона, он снова уселся в качалку. В начале 1937 года генерал Морейра собирался баллотироваться в Академию Рио-де-Жанейро: всё тот же вер­ный Сабенса уже начал зондировать почву, но тут важнейшие военно-политические проблемы целиком заняли и время, и мысли генерала. Он активно включился в избирательную кампанию Армандо Салеса де Оливейры, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии, и помогал ему так рьяно и усердно, что газеты единодушно прочили генералу пост военного министра в новом кабинете, если, конечно, оппозиция одержит на выборах победу. Дона Консейсан, весьма склонная к мечтательности, несколько месяцев наслаждалась сказочными перспективами, которые открывались перед её мужем. Да, всего несколько месяцев, потому что в но­ябре произошел государственный переворот, объявивший Бразилию Новым государством, разогнавший парламент, запретивший политические партии, уничтоживший соперников президента. Генерал Морейра вместо портфеля военного министра получил отставку с пенсионом, облачился в пижаму — классическое одеяние отставников — и, поскольку времени у него теперь было в избытке, вернулся к мирным и усердным трудам на литературной ниве.

В газете «Коррейо до Рио» он возобновил еженедельное обозрение «В защиту родного языка», прерванное на время избирательной кампании, закончил редактуру третьего тома своих действительных и вымышленных «Историй из бразильской истории» — выход этой книги в свет совпал по времени с вакансией в Академии Рио-де-Жанейро и подвигнул верного Сабенсу возобновить усилия. Всё сулило удачу. Ах, если бы дело было только в академиках... Встреча Сабенсы с президентом должна была решить судьбу честолюбивого генерала и определить его дальнейшие действия: надеяться ли ему па победу или снять свою кандидатуру?

Звон церковного колокола возвестил полдень. Почему же Сабенса не даёт о себе знать? Свидание отсрочилось или предусмотрительный президент решил поддержать Ладейру, чтобы уберечься от его шуточек и эпиграмм? Генералу велено избегать волнений — сердце пошаливает...

Заслышав телефонный звонок, он едва сдерживается, чтобы бегом не броситься в комнаты. Дона Консейсан кричит:

— Это тебя, Морейра... — Она всегда зовёт мужа по фамилии, выказывая тем самым преданность и уважение. — Из Академии.

— Сабенса! — Генерал уже на ногах.

— Нет, это не Сабенса.

— А кто ж тогда?

— Доктор Родриго Инасио Фильо, член Бразильской Академии. Просит, чтобы ты назначил удобное тебе время для приёма делегации академиков.

Генерал колеблется. Похоже на розыгрыш, подстроенный негодяем Ладейрой: такие шутки дурного тона вполне в его вкусе.

— Он ждет у телефона.

Конечно, розыгрыш. Нахмурившись, генерал следует к телефону... Ну, если только это проделки мерзавца Ладейры, он дорого за них заплатит. Над генералом бра­зильской армии, пусть даже в отставке, никому ещё не удавалось издеваться безнаказанно.

### ПОИСКИ КАНДИДАТА И КОНЬЯК «НАПОЛЕОН»

Имя генерала Валдомиро Морейры назвал Родриго Инасио Фильо, который был посвящен в замысел академиков и принял самое горячее участие в его осуществлении. Имя генерала было названо в тот самый момент, когда местре Афранио уже почти согласился признать правоту своего друга и кума Эвандро: ему оказалось не под силу найти генерала, притом напечатавшего хотя бы одну книгу, притом убеждённого антинациста, который не опорочил своё имя сделками с Новым государством и не побоялся бы вступить в схватку с полковником Перейрой. Антинацистов полно, чуть ли не все подряд; противников диктатуры значительно меньше, и они предпочитают не высказывать своих убеждений вслух; напечатанная книга имеется у очень немногих, да и те вряд ли решатся испытать на себе могущество и злобный нрав полковника... В кабинете Афранио двое друзей попивали коньяк (знаменитый «финь-шампань», названный в честь великого француза и воителя) и отбрасывали одну кандидатуру за другой.

— Не спорь, Афранио, он автор учебника математики... Не пойдёт.

— Этот никогда не осмелится выступить против Перейры.

— Этот подошел бы по всем статьям, будь он не майор, а генерал.

В дверях, посмеиваясь, появился Родриго Инасио Фильо, приглашенный принять участие в отборе кандидатов. В петлице у этого самого миролюбивого на свете человека друзья увидели розетку ордена Почётного легиона — это значило, что Родриго твердо решил принять участие в сопротивлении. Академик подошел к аристократической ручке доны Розариньи.

— Ваше превосходительство, рядовой необученный Инасио Фильо явился по приказанию вашего мужа. Всё это, разумеется, абсурд, но Бруно остался бы нами до­волен.

— Почему же абсурд? Не абсурдней войны, — ответствовал Эвандро.

Дона Розаринья налила вновь прибывшему рюмку коньяку и сказала:

— Ну-ка, Родриго, поднатужьтесь, достаньте нам генерала. Вы ведь знаете, каким требованиям он должен отвечать.

— Слушаюсь! Предлагается генерал Валдомиро Морейра.

— Валдомиро Морейра... Откуда я знаю это имя?.. — Местре Афранио напряг память. — Ну, откуда же?..

Несколько дней назад Родриго получил новую книгу генерала Морейры, автора полудюжины объемистых томов. Генерал был человек заметный: имя его было хорошо известно и в военных кругах, и в политических, не говоря уж о литературных, и часто упоминалось в газетах во время избирательной кампании Армандо Салеса, когда кто-то и познакомил Родриго с Морейрой. Дважды или трижды они встречались в обществе: на каком-то банкете сидели рядом, разговаривали о политике и литературе. Генерал, правда, не одобрял нынешних писателей, упрекал их в забвении или незнании норм португальского языка, но зато был настоящим, закаленным в битвах демократом, почему и оказался в отставке. Ярый антинацист, сторонник союзных держав — чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его комментарии к ходу военных действий в «Коррейо до Рио», где он называет Гитлера «слабоумным выродком».

— Он до того пристрастен, что вопреки всякой очевидности не желает верить в победы нацистов.

— Что ж, остается только узнать, согласится ли он баллотироваться.

Местре Афранио было поручено собрать дополнительные сведения, и через двадцать четыре часа он с ликованием объявил:

— Сомнений нет: он наш!

В том же самом кабинете, потягивая всё тот же воинственный напиток галлов, он изложил основные вехи жизненного пути Валдомиро Морейры: принимал участие в конституционалистской революции[[9]](#footnote-9), поддерживал Армандо Салеса, уволен в отставку лидерами Нового госу­дарства. Напечатал пять книг: три тома исторических рассказов, лингвистическое исследование и брошюру (раскуплена полностью) о боевых действиях в штате Минас-Жерайс в 1932 году. Честен. Порядочен. Несколь­ко самонадеян и упрям. Не боится ничего.

— Вот это его качество нам сейчас пригодится.

— Ты думаешь, он полезет в драку? — спросил Эвандро.

— Я в этом уверен... — Местре Афранио окинул за­говорщиков весёлым и лукавым взглядом. — Бьюсь об заклад, вам не угадать, чего именно добивается сейчас наш генерал. — Секундная пауза, глоток коньяку. — Он желает выдвинуть свою кандидатуру в Академию Рио-де-Жа­нейро!

— Быть не может! Ты шутишь!

— Я говорю чистейшую правду. Представь, что с ним будет, когда мы предложим ему место в Бразильской Академии. Он с ума сойдет! Кроме того, Сампайо Перейра ему не опасен: генералу и так нагадили, где только могли, и терять ему нечего. Он — наш! Родриго попал в яблочко.

— А книги? — Эвандро, задавая этот вопрос, даже понизил голос. — Книги-то у него каковы?

Родриго, не щадя себя для общего дела, прочитал последнее творение генерала.

— Очень самодовольно и категорично, но читать можно. Пишет без ошибок, чего вам еще? Грамматика — его божество. Гладко.

— Вот как? Вылизанный стиль?

— Вылизанный. Конечно, самое место генералу — в Академии Рио-де-Жанейро, но, кроме него, у нас никого нет.

— Нет, — подтвердил местре Афранио. — Остаток дня буду читать его книги: четыре я достал, а Карлос Рибейро припас для меня эту брошюрку. От Карлоса-то я и получил эти сведения про генерала.

Он говорил о знаменитом столичном книготорговце, старом букинисте Рибейро. В его лавку на улице Сан-Жозе приходили и греки, и троянцы: академики и модернисты, маститые и начинающие, писатели всех школ, направлений, убеждений и уровней. Лучше Карлоса никто не знал литературную жизнь.

— Признаться, — местре Афранио улыбнулся широко и доброжелательно, — я купил по два экземпляра каждой книги, чтобы и ты, куманек, мог почитать. Мы должны в совершенстве знать творчество нашего кандидата: ведь придется расхваливать.

Старый Эвандро мигом нашелся:

— Расхвалить-то я расхвалю. На войне не до тонкостей: можно иногда и покривить душой. А вот читать... Пожалуй, ты слишком многого от меня хочешь. Категорично, гладко... Эти штуки мы знаем. Чем меньше такого читаешь, тем лучше хвалится.

### ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, БАЛЬЗАМ НА РАНЫ

После того как рассеялся министерский мираж и была получена отставка с правом ношения формы, генерал Валдомиро Морейра решил полностью отдаться литературе, которая должна была увенчать его скромной, но льстящей самолюбию славой. Впрочем, генерал допустил рецидив и поплатился за это.

Еженедельная газетная колонка, посвященная борьбе против порчи языка, вызвала потоки писем от пламенных ревнителей чистоты португальской речи, озабочен­ных и возмущённых вопиющим попранием элементарных норм грамматики в современной литературе, «написанной, очевидно, на кабинда, кимбунду или наго»[[10]](#footnote-10). Гене­рал с увлечением редактировал третий том «Истории из бразильской истории», когда в Европе грянула война. Тут-то и случился рецидив воинственных настроений.

Генерал обрёл себя в новом качестве. «Крупный специалист в вопросах лингвистики» (просвещенное мнение Ривадавии Понтеса) вспомнил, что обладает не менее весомым авторитетом в области военного искусства, что был любим профессорами Французской Военной Академии и непобедим на маневрах. Поэтому в той же самой «Коррейо до Рио», где по воскресеньям генерал наставлял юношество, он взялся вести ежедневное военное обозрение, кратко и веско комментируя ход военных действий. «Вторая мировая — день за днем; анализ и прогнозы» — так назывался этот раздел, подписанный «ген. В. М.».

Однако Морейре-стратегу далеко оказалось до Морейры-филолога. Танковые дивизии Гитлера, преодолев непреодолимую линию Мажино, в прах развеяли авторитет­ные суждения «ген. В. М.». Попирая все законы военной науки, они ежевечерне опровергали утренние прогнозы мудрого комментатора. Он терял плацдармы вместе с Гамеленом, отступал с Вейганом[[11]](#footnote-11), терпел одно поражение за другим. Дело кончилось полным разгромом. Обескураженный генерал под тем предлогом, что цензура постоянно вымарывает его уничижительные отзывы о фюрере (он отыгрывался ими за поражение), отказался — к вящему облегчению редактора — продолжать свою работу в газете.

Он вновь обратился к литературе, и она вознаградила его за военные неудачи: «Истории из бразильской исто­рии» встретили в высшей степени благожелательные отзывы критиков. Верный Сабенса написал пространную хвалебную статью, а знаменитый академик Алтино Алкантара прислал генералу письмо, в котором уведомлял «своего уважаемого собрата о получении его новой книги, написанной безупречным языком и проникнутой духом законной гордости за героические деяния нашего народа».

Гораздо труднее было смириться с неблагополучием в семье: легкомысленная Сесилия бросила мужа, почтительного и усердного служаку-капитана, и перебралась в Рио, на простор. Генерал Морейра был человек верный и честный: поступок дочери возмутил его, хотя и не удивил.

Возможность попасть в число членов Академии Рио-де-Жанейро бальзамом пролилась на раны генерала. Последние отголоски неприятностей, связанных с его военными комментариями и время от времени болезненно напоминавших о себе («...умереть можно со смеху», — го­ворили в кабинете полковника Перейры, вслух читая генеральские прогнозы, и действительно хохотали до упаду), теперь затихнут навсегда. Ну а что касается увлечений Сесилии — «ничего себе увлечения!», но генерал предпочитает в этом вопросе иносказания, — то пусть ими занимается дона Консейсан до Прадо Морейра, дама крепкая и выносливая, на которой генерал, оставшись в тридцать лет бездетным вдовцом, женился, когда служил в Мато-Гроссо и не мог больше вынести одиночества.

Дона Консейсан тоже происходила из семьи военного и потому легко привыкла к тираническому нраву супруга. Прежде чем подчиниться власти генерала, она кротко сносила выходки брата, в доме которого жила до благословенной встречи с Морейрой. Замужество позволило ей покинуть захолустье и избавило от придирок злонравной невестки. А Сесилия пошла в отца: такая же упрямая, твердолобая, глухая и к угрозам, и к уговорам. Но генерал при всём том был цельной натурой, дона Консейсан — скромна и послушна. От кого же достался Сесилии бешеный темперамент, необузданный и переменчивый нрав, неумеренность во всём? Бог знает.

Если бы сегодня, как было условлено, генералу позвонил Сабенса, сообщил бы ему об отрадных итогах своего свидания с президентом, генерал бы спокойно отобедал и с легким сердцем предался сиесте, растянувшись в качалке. Он пригласил бы друга отужинать, и они обсудили бы подробности избрания в ряды «бессмертных». И вот всё пошло кувырком. Вместо скромного Сабенсы, составителя антологий и автора учебников грамматики, позвонил знаменитый Родриго Инасио Фильо, член Бразильской Академии, создатель прославленного романа «Записки постороннего».

Сердце генерала ноет, жалуясь на все эти неожиданные события. Дона Консейсан приносит мужу таблетку и стакан воды:

— Прилег бы ты, Морейра, отдохнул перед обедом.

Обед в их доме неизменно подаётся в половине первого, но сегодня нарушено и это правило.

### НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ И НЕЛЕПЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Делегация членов Бразильской Академии! В телефонном разговоре Родриго Инасио Фильо ограничился кратким сообщением и попросил достоуважаемого генерала Морейру в ближайшее время назначить день и час для приема делегации. Слова эти были произнесены после того, как собеседники вспомнили памятный обоим банкет и свои беседы за столом, так что всякая возможность розыгрыша отпала, а подозрения с коварного Ладейры были сняты. Однако цель прихода академиков яснее не стала, спросить же напрямик генерал постеснялся. Оп отвечал, что в любой день и час готов принять академиков, и поблагодарил за неожиданную честь.

— Делегация Бразильской Академии! Как ты думаешь, Консейсан, за каким дьяволом их несёт сюда?

Дона Консейсан велела ему принять лекарство и попыталась успокоить:

— Ты бы всё-таки прилёг, пока будет готов обед.

«Прилёг»! Тут приляжешь! Генералу не сиделось и не лежалось. Наверняка это какая-то ошибка, недоразумение. Но какая же тут может быть ошибка? А если нет? А вдруг они решили присудить ему премию Машадо де Ассиза — самую почетную премию, ежегодно присуждаемую Бразильской Академией за цикл произведе­ний? Бывали же случаи, когда академики, не зная, кого из двух известных писателей предпочесть, отдавали премию третьему, имя которого до этого даже не упоминалось. Генерал, хорошо осведомленный о правилах твёрдыни словесности, о нравах и обычаях членов Академии, знал, что, перед тем как присудить премию Машадо де Ассиза, кто-нибудь из академиков ведет тайные предварительные переговоры, но ему еще никогда не приходилось слышать, чтобы целая делегация являлась к писателю в дом и спрашивала, согласен ли он принять желанную награду, которая, кроме высокой чести, означала и солидную сумму. Нет, это не то... А что же тогда? Тут просто с ума сойдешь... Больше суток предстояло провести генералу в волнении и беспокойстве — Родриго сообщил, что делегация придёт завтра в шесть вечера. Два­дцать девять часов — если быть точным — придется провести ему в муках ожидания.

Большой, дородный, краснолицый, взлохмаченный, генерал размеренным шагом ходит из угла в угол. Он и в пижаме никогда не будет похож на штатского — военная косточка, это сразу заметно и по лицу, и по движениям, и по той привычке командовать, которая стала частью его натуры... Так какого же чёрта все-таки идут к нему академики?

Он знает о смерти поэта Антонио Бруно и об освободившейся вакансии, но не решается и подумать о той связи, которая может существовать между визитом академиков и печальным событием с такими неожиданными и радостными последствиями. Беспочвенные фантазии никогда не посещают генеральскую голову, но сейчас против воли он принимается размышлять об этом неве­роятном предположении. Сесилия, узнав о разговоре с Родриго и о назначенной встрече, кричит ему из другой комнаты:

— Они хотят посадить тебя на место того академика, что недавно умер!

Ох, бедное сердце генерала Морейры...

— Не говори глупостей!

— Ну так, значит, придут с подписным листом, будут просить денег на чей-нибудь бюст. Они там, в Академии, только и делают, что воздвигают друг другу бюсты.

— Бюст, бюст!.. Сама не знаешь, что мелешь!

Дона Консейсан зовет к столу — обед опоздал на полчаса: господи боже мой, ну и денёк! Генерал Морейра с омерзением разглядывает тарелку с прописанной ему доктором диетической едой. Аппетит пропал начисто...

Звонит телефон, и генерал откладывает вилку. Это Сабенса, который просит извинить его за опоздание и сообщает, что свидание с доктором Линьяресом переносится на завтра. Президент находится у постели тяжелобольного и не может увидеться с Сабенсой. Но пусть дорогой генерал не беспокоится: через двадцать четыре часа его кандидатура с соблюдением всех формальностей будет утверждена президентом. Генерал, пытаясь скрыть беспокойство, с притворной радостью благодарит за хорошие новости.

За обедом дона Консейсан обсуждает с дочерью, что подать к приходу важных господ из Академии: ведь это настоящие «бессмертные», имеющие право носить расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир и получать жетон. В начале незабываемого 1937 года его превосходительство генерал Валдомиро Морейра с супругой получили приглашение на торжественную церемонию приема в члены Академии доктора Алкантары, политического деятеля из Сан-Пауло, и побывали в Малом Трианоне:

— Это великолепное зрелище! Кажется, что ты при дворе короля!

Да, вот Бразильская Академия — это дело! Из-за нее стоит тратить время и силы, стоит бороться за вакансии, но генерал, занятый выклянчиванием поддержки для вступления в другую академию — жалкую, маленькую столичную Академию словесности, расположенную в Нитерое, не дающую ни мундира, ни жетона, ни портретов в газетах, — даже не думает об этом. Зато эта мысль осеняет дону Консейсан, но она молчит: Морейра сегодня в отвратительном настроении, а у Сесилии ветер в голове. А вдруг дочь права, и академики придут с подписным листом, чтобы воздвигнуть бюст этому только что скончавшемуся поэту?.. Юбочник, говорят, был, каких мало. За гробом на кладбище шла целая толпа плачущих женщин. Ещё счастье, что Сесилия его не знала...

— Так что же подать? Пиво, лимонад? Может быть, пирожки или холодную курицу?

— Вообще ничего не надо. Пиво не подают, — режет в ответ генерал.

— Ну тогда хотя бы фруктовый ликёр? Или чай? Они ведь у себя в Академии пьют чай?

— Лучше всего просто кофе, мама.

Генерал согласен с дочерью: и с тем, что следует подать только кофе, и — страшась и надеясь — с предположением, которое она высказала только что: «Они хотят посадить тебя на место того академика, что недавно умер!»

Двадцать девять часов ожидания и наверняка бессонная ночь! Если сердце выдержит, то, значит, врач, пользующий генерала, ни черта не смыслит в медицине.

### МАНЁВР КАНДИДАТА

На следующий день в одиннадцать утра генерал Валдомиро Морейра официально известил, что выдвигает свою кандидатуру в Академию Рио-де-Жанейро. Письмо с этим сообщением было вручено верному Сабенсе, а тот, получив подтверждение президента, сел на трамвай и привез эту замечательную новость в Гражау, где жил генерал.

Через восемь часов — в семь вечера — генерал стал кандидатом в Бразильскую Академию, приняв предложение представительной делегации академиков и вручив письмо Афранио Портеле. Генерал никогда и не подозревал, что местре Портела читал его книги, что знаменитый автор «Женщины в зеркале» обнаружит такое глубокое знание образов, запечатленных в трехтомных «Историях из бразильской истории», и проблем, всесторонне рассмотренных в «Языковых пролегоменах».

Искушённый читатель, Афранио Портела, как он сам говорит, «проследил пядь за пядью, книга за книгой весь блистательный путь интеллектуального творчества генерала». Кажется, что академик только что прочёл труды Морейры: он без запинки приводит по памяти длинные отрывки, наизусть цитирует целые сцены и диалоги.

— У вас необыкновенная память, местре! — Генерал польщен.

— Ваши книги я перечитываю по много раз, — застенчиво улыбается в ответ академик.

Эвандро Нунес дос Сантос, хоть и знает, что на войне все средства хороши, старается не смотреть на кума. Сам он припечатывает восторженные излияния Портелы выразительными определениями: «Замечательно!», «Мас­терски!», «Великолепно!» — и лаконичные похвалы старого ученого, которого все побаиваются, значат очень много, они попросту драгоценны. Трое остальных академиков подпевают этому хвалебному хору. Смущенный генерал не знает, что сказать: ему кажется, что он недооценивал собственное творчество.

Через некоторое время он зовет жену и дочь: пусть послушают, какие почести воздает ему представительная делегация, выражающая мнение едва ли не всей Академии. Пусть услышат, как высоко ценят книги их мужа и отца академики. Дона Консейсан взволнованна, Сесилия потрясена.

Через сорок минут после того как академики разместились по двум большим автомобилям и отбыли, генерал позвонил Сабенсе: сообщил, что отказывается баллотироваться, потребовал назад своё письменное заявление и пообещал рассказать ошеломляющие новости, «Приходите ужинать, и я вам всё расскажу. Вы ахнете!»

— Так что же, не считать вас больше кандидатом? — спрашивает измученный Сабенса: после стольких хлопот, после того, как он заручился наконец поддержкой президента, это известие для него как снег на голову.

— Отчего же не считать?.. Считайте, считайте, только смотря какой Академии...

— Я ничего не понимаю!

— Вы всё поймете, когда я вам объясню. Скажите Линъяресу, что я благодарен ему за предложение, но вынужден его отклонить. Он может считать это место вакантным.

Предложение? Какое предложение? Сабенсе ли не знать, что предложением и не пахло, что потребовались титанические усилия для того, чтобы уговорить доктора Линьяреса. Не будь его собеседник генералом — Сабенса уважает чины, — он послал бы его подальше. Однако он сдерживается и меланхолически кладет трубку. Хлопоты по выдвижению генерала в Академию открывали перед ним двери гостеприимного дома Морейры, а в этом доме... «бабочкою сновиденной там Сесилия порхает, там Сесилия порхает и желанье пробуждает...». Клодинор Сабенса время от времени тоже грешит стишками.

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЁТ СИЛ

Неделю назад, на похоронах Бруно, их было двое: Афранио Портела и Эвандро Нунес дос Сантос. Потом к ним примкнул Родриго Инасио Фильо. В доме генерала присутствовало уже пятеро: три вышепоименованных академика, Энрике Андраде, биограф Руя Барбозы, Рио Бранко и Набуко[[12]](#footnote-12) и драматург Фигейредо Жуниор, пьесы которого раньше широко шли по всей стране, а после провозглашения Нового государства исчезли с театральных афиш. Они затрагивали социальные проблемы, а герои их — будь то эллины или жители штата Сеара — защищали свободу и гражданские права.

Предварительные переговоры с академиками позволили Афранио Портеле рассчитывать на восемь голосов. Эвандро Нунес ручался за двенадцать, но к прогнозам старого ученого, известного своим необоснованным оптимизмом, следовало относиться с большой осторожностью.

Полковник Перейра мог надеяться, что за него будет подано приблизительно пятнадцать голосов. Приняв решительные и скорые меры, он сможет увеличить эту цифру и упрочить победу. Но если инициативу перехватят приверженцы генерала, если они проявят твердость духа и — самое главное! — смекалку, то Перейра не только не получит новых сторонников, но может даже потерять прежних.

Портела прибавил восемь к пятнадцати и получил двадцать три. Затем вычел из тридцати девяти (количество членов Академии) двадцать три (суммарное число приверженцев полковника и Морейры) и получил шестнадцать голосов, которые еще предстояло завоевать в ходе избирательной кампании. Когда действительность станет легендой, эта кампания будет называться «Битва при Малом Трианоне».

Действовать спешно и интриговать не жалея сил! — такова была задача дня, продиктованная местре Портелой после предварительного подсчета голосов.

Во время приема делегации Афранио был чрезвычай­но удивлен тем, с какой готовностью генерал согласился вступить в борьбу с полковником Агналдо Сампайо Перейрой — он словно ничего другого и не желал. Очевидно, у генерала были с Перейрой старые и личные счеты. Афранио из чистого любопытства решил доискаться до причин этого воинственного пыла. Он возлагал большие надежды на ужин — вино должно было растопить лёд официальности.

Для того чтобы выработать диспозицию сражения и выполнить приказ доны Розариньи — «позови его с женой, я хочу знать, что они из себя представляют», — супруги Морейра, а также Эвандро Нунес и Родриго были приглашены на ужин к академику Портеле. Приглашение не распространялось на Сесилию, но она не могла пренебречь возможностью увидеть «изысканную виллу на Прайа-до-Фламенго», о которой столько писали вездесущие светские хроникёры.

Нечего и говорить, что седые виски, холёные руки и английский блейзер академика Родриго Инасио Фильо, так похожего на испанского гранда, уже давно и прочно обосновались в сновидениях Сесилии, являлись ей ночами, мучая и утешая. Сны Сесилии! Если бы можно было их пересказать, скромная история из жизни академиков стала бы сенсационным бестселлером.

### СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СУТИ ПРОИСХОДЯЩЕГО И МОГУЩИЕ ПРИГОДИТЬСЯ ВСЯ­КОМУ, КТО ЖЕЛАЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В АКАДЕМИЮ

Теперь, когда на освободившееся в Академии место официально претендуют два кандидата, необходимо внести некоторые разъяснения — без них читателям будет трудно следить за ходом событий и оценить соль рассказываемой нами истории. Разумеется, мы нарушаем правила повествования, но надеемся, что приведенный выше довод послужит нам извинением: может быть, эта краткая справка пригодится будущему кандидату в академики, введя его в курс дела и ознакомив с правилами и обычаями этой почтенной корпорации.

На первом после похорон «бессмертного» заседания его место официально объявляется вакантным. Заседание это называется «поминальным». Через четыре месяца происходят выборы преемника.

В первые два месяца из тех четырех, что отделяют «поминальное заседание» от выборов, сообщить о своем желании баллотироваться в Академию может любой бразильский гражданин мужского пола (лишь через тридцать шесть лет после описываемых событий в ряды «бессмертных» были допущены женщины), опубликовавший по крайней мере одну книгу. По истечении двух месяцев прием заявлений прекращается. В оставшееся время претендентам надлежит завоёвывать голоса академиков, а академикам — размышлять о том, кому именно окажут они честь своей поддержкой.

Кандидат считается избранным, если он получил абсолютное большинство голосов — то есть на один голос больше половины академиков, принимающих участие в выборах. Голосование тайное: академики опускают бюллетени в опечатанную урну, «Бессмертный», по какой-либо причине не имеющий возможности лично присутствовать на выборах, присылает в запечатанном конверте бюллетень и письмо, объясняющее причины отсутствия.

Академик может вообще воздержаться от голосования, а также имеет право вычеркнуть фамилию кандидата. В первом случае он показывает, что ничего не имеет против претендента, но считает, что его интеллектуальные качества не дают ему права вступить в Академию. Вычеркнутая фамилия — средство более радикальное: тем самым академик заявляет, что активно протестует против того, чтобы кандидат стал его собратом. В первом случае претендент (если все остальные академики проголосовали за него) считается избранным единогласно. Во втором случае — нет.

После выборов академики в полном составе отправляются домой к своему новому собрату, где их ждет обильный и изысканный стол (обычай этот заслуживает всяческого поощрения). В доме свежеиспеченного «бессмертного» собирается, как правило, очень много народу: политические деятели, кое-кто из правительства, интеллектуальная элита, земляки, друзья и поклонники. Шампанское и виски текут рекой, и празднество продолжается до утра.

На долю двух или трех академиков выпадает прискорбная обязанность: прежде чем заключить нового собрата в объятия, они отправляются к забаллотированному кандидату, дают ему объяснения, пытаются ободрить в эту горькую минуту и обещают скорый реванш. «Уж следующий раз...» По мнению Родриго Инасио Фильо, знатока и ревнителя протокола, приличия требуют, чтобы члены-утешители, разделяя горе семьи, не смели притрагиваться ни к яствам, ни к питиям, если таковые еще не убраны со стола, который был накрыт для того, чтобы отпраздновать победу — победу, которая не состоялась.

### ФАЗЫ БОРЬБЫ

Сражение при Малом Трианоне длилось немногим более двух месяцев и закончилось — довольно неожиданно — через десять дней после того, как истек срок подачи заявлений на место в Бразильской Академии, освобо­дившейся после смерти поэта Антонио Бруно. Баллотировались двое: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра (кандидаты перечислены в порядке подачи ими заявлений). Ни один штатский литератор не осмелился претендовать на это место, поскольку утвердилось общее мнение, что оно по праву и традиции принадлежит вооруженным силам, а вертопрах и штафирка Антонио Бруно занял его по необъяснимой случайности: недоглядели, прохлопали, плохо несли караульную службу.

То, что творилось в промежутке между окончанием битвы и началом выборов, не имеет ничего общего с крестовым походом, провозглашенным и возглавленным Афранио Портелой. Военные действия, которые велись по высшим законам стратегии и оперативного искусства, сменились самой настоящей партизанской войной, а сам местре Портела сдал верховное командование над объединенными силами сопротивления своему куму Эвандро Нунесу. Почтенный ученый желал доказать, что в Бразильской Академии нет — и не будет! — мест, закрепленных за той или иной — какой угодно! — организацией.

Сражение прошло три этапа. В первые двадцать дней инициативой владели сторонники генерала Морейры. Смятение, вызванное намерением генерала баллотироваться — многие академики были приятно или неприятно поражены, узнав о том, что у полковника Перейры, считавшегося единственным претендентом, объявился соперник, — и стремительные действия, которыми руководил Афранио Портела, позволили генералу занять выгодные позиции и приобрести новых сторонников — среди них были и перебежчики из стана врага. Сам же этот враг был настолько уверен в победе, что отнесся к предвыборной борьбе без должного внимания и даже отло­жил обязательные визиты будущим коллегам до своего возвращения из инспекционной поездки по югу страны — по штату Санта-Катарина, — где произошли события, потребовавшие немедленного вмешательства, и по беспокойному штату Рио-Гранде-до-Сул. Афранио Портела воспользовался его отсутствием и двинул свои войска на приступ.

Верные полковнику Перейре части поднялись в контратаку, ответив на эту вылазку не менее яростным ударом. Лизандро Лейте оправился от удивления — теперь нечего было и думать, что полковник останется единственным претендентом, — и поспешил заручиться поддержкой могущественных союзников, которые могли бы переломить ход сражения и принудить генерала к позорной капитуляции. На тех академиков, которые еще колебались, не зная, к кому примкнуть, было оказано давление настолько мощное, что генерал отныне мог рассчитывать лишь на полдюжины ничего не значащих голосов.

Чем же ответить на действия разъяренного Лейте, который применил подкуп и шантаж, прибегнул к вмешательству грозных сил, не имеющих никакого отношения к Академии? Местре Портела долго не раздумывал. Интрига против интриги, заговор против заговора, «не брезговать ничем!» — таковы были его приказы и таков был второй этап борьбы.

В последние двадцать дней перед выборами установилось относительное равновесие сил, зато смущение умов достигло своего апогея. Оперативные карты противоборствующих сторон — имеется в виду испещренный кабалистическими знаками список академиков с их адресами и телефонами — зафиксировали паритет. Не менее десяти имен значилось в обоих списках одновременно: по мнению Лизандро, это были испытанные приверженцы полковника; по убеждению Афранио — надёжные сторонники генерала. На этом этапе сражения противники широко применяли военную — и невоенную — хитрость, клевету, сплетни. В ход пошли все способы воздействия на колеблющихся: от запугивания до грубой лести.

Битва при Малом Трианоне окончилась неожиданно для ее участников, когда боевые действия были в самом разгаре. Вздох облегчения заглушил даже ликующие клики в стане победителей.

### ПРОИСШЕСТВИЯ В ШТАТЕ САНТА-КАТАРИНА

Политическая обстановка в стране и за границей по­стоянно складывалась в самом благоприятном для полковника Перейры смысле. Однако случилось так, что эта благоприятная обстановка сыграла на руку и генералу Морейре: безнаказанная свобода действий, которой он не преминул воспользоваться на первом этапе кампании, объясняется происшествиями в штате Санта-Катарина. Последствия этого случайного совпадения были очень значительны. Полковник Перейра был вынужден отвлечься от своих академических забот и заняться делами, за которые нёс прямую и полную ответственность, поскольку являлся столпом режима и горячим сторонником союза между третьим рейхом и Новым государством. Союз этот, хоть и не был подписан, тем не менее уже вступил в силу и переживал в ту пору свой медовый месяц.

Тут на сцену выходит капитан Жоакин Гравата, который в это самое время прибыл для прохождения дальнейшей службы в Санта-Катарину с родимого Северо-Востока и принял, сам того не зная, участие в битве при Малом Трианоне на стороне генерала Морейры и его покровителей.

После того как Бразилия была провозглашена Новым государством, любые политические манифестации были запрещены, а все без исключения партии, кроме одной, — распущены. Капитан Жоакин Гравата, воспитанный в духе высокого патриотизма, с особой чувствительностью относился ко всему, что могло бы нанести ущерб территориальной целостности страны или ущемить ее национальное достоинство. Раньше он служил в амазонской сельве, зорко охранял границу и был готов отразить любую попытку вторжения со стороны злонамеренных соседей. Там, на севере, капитан проявил себя истинным патриотом, на юге он доказал, что ляжет костьми, но не допустит попрания законов.

В ходе следствия, учиненного по поводу событий в Санта-Катарине, кое-кто пытался объяснить приверженность капитана неукоснительному соблюдению буквы закона его недвусмысленными политическими антипатиями. Однако доказательств не нашлось, дело прекратили, когда же после Пёрл-Харбора и Сталинграда отношение к войне резко изменилось и постыдные союзы были разорваны, капитана отправили в Италию, где на полях сражений он добыл себе и новые чины, и награды.

Но всё это произошло уже потом, а в тот миг, когда капитан, расставшись с амазонскими индейцами и метисами-кабокло, приехал в Блюменау, столицу штата Сан­та-Катарина, ему показалось, что он попал за границу. И не в том было дело, что вокруг ходили белокурые и голубоглазые арийцы, а германская речь, неприятно поражая ухо, звучала не в пример чаще португальской. Капитан обнаружил, что жители Блюменау нарушают — прямо-таки попирают! — законы, изданные правительством страны. Хорошее это правительство или дурное — другой вопрос, но никому не позволено забывать, что это правительство суверенной страны, которая расположена в Южной Америке и называется Бразилия, и никак иначе.

Блюменау, ещё несколько лет назад мирный бразиль­ский городок, ныне стал центром воинственной германской колонии. Капитан Гравата, уроженец штата Сержипе, не имел ничего против смешения рас, но болезненно относился к любым попыткам подорвать престиж своей страны и был ошеломлен тем, что увидел. В клубах, школах, церквах, на улицах и площадях Блюменау постоянно устраивались шумные и многолюдные манифестации. Демонстранты, отмечая победы нацистских войск, ходили по городу с флагами, транспарантами, изображениями свастики и портретами фюрера. Молодые люди в черных и коричневых рубашках маршировали гусиным шагом, вскидывали руку в нацистском приветствии и кричали: «Хайль Гитлер!» С трибун, воздвигнутых в парках и скверах, произносились яростные подстрекательские речи — на баварском диалекте они звучали особенно гнусно.

Разве не запретило правительство политические речи как в частных собраниях, так и в общественных местах? Запретило. Разве не объявлены вне закона все политические партии? Объявлены. Так почему же национал-социалистская партия, с центром в Берлине, открыто действует в Блюменау — в городе, который, по мнению капитана Граваты и его подчиненных, был и остается бразильской территорией? Желая внушить горожанам уважение к закону, капитан призвал к себе местного префекта и попытался выработать план совместных действий. Прежний префект был снят со своего поста в начале войны, а его преемник совмещал охрану обществен­ного порядка с обязанностями руководителя местного отделения нацистской партии. Выслушав капитана, он усмехнулся наивности этого скромного и смуглого мулата: запрещение политических собраний не распространяется на те празднества, которыми немецкая колония в Бразилии отмечает победы вермахта. Что же касается партии, то она, будучи нацистской, во-первых, и немецкой, во-вторых, юрисдикции бразильских властей не подлежит. Отговорив, префект снова усмехнулся и посчитал, что инцидент исчерпан. Капитан был другого мнения: ему не понравились ни объяснения префекта, ни его усмешки. Он начал действовать.

Он конфисковал знамёна со свастикой и плакаты с лозунгами, разнообразные нацистские эмблемы и обширную литературу на немецком языке, бесчисленные портреты фюрера и значительное количество оружия. Он запер на замок дом, в котором помещалось местное отделение партии, и спрятал ключ в карман. Он разогнал демонстрацию протеста, которую попытался было устроить префект, и посадил за решетку самых ретивых ее участников.

Газеты почти никак не отозвались на все эти собы­тия — лишь в двух или трех появились короткие заметки, но цензура немедленно запретила какие бы то ни было комментарии к самим этим происшествиям и к тому, что за ними последовало. А последовало вот что: полковник Перейра спешно выехал в Санта-Катарину, капитан Гравата был не менее спешно снят с должности и предан военному суду; под звуки фанфар свастика вернулась на старое место; вновь взметнулись в нацистском приветствии руки, снова глотки гаркнули: «Хайль Гитлер!»

А покуда полковник наводил порядок, восстанавливал законную власть в Блюменау и инспектировал города Рио-Гранде-до-Сул во избежание подобных инцидентов и для укрепления тевтоно-бразильских уз, генерал Морейра ездил с визитами к членам Бразильской Академии и произносил назубок затверженную речь: он, представитель высшего офицерства, писатель и военный, историк и филолог, желает занять среди «бессмертных» место, по традиции принадлежащее армии, и потому просит, чтобы академик оказал ему честь, проголосовав за него.

Иные академики радовались появлению новой кандидатуры: не будь генерала, им пришлось бы голосовать за мерзкого нациста. Иные чувствовали беспокойство: не будь генерала, полковник остался бы единственным претендентом и они со спокойной совестью, не опасаясь ни осуждения, ни укоризненных намеков, избрали бы в Академию могущественного шефа службы безопасности.

В заключение необходимо сообщить, что, хотя капитан Жоакин Гравата вмешался в ход предвыборной борьбы, не имея о ней ни малейшего понятия, имя Антонио Бруно все же было ему известно. Он читал замусоленный, от руки переписанный экземпляр «Песни любви покоренному городу» и находил в этих стихах призыв к борьбе и приказ не сдаваться. Он прибыл в покоренный город Блюменау и решил освободить его.

### ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОРТВЕЙН И АНГЛИЙСКИЕ БИСКВИТЫ

Никто не знал, куда именно выехал из Рио полковник Перейра, где именно крепит он государственную безопасность: всё это хранилось в тайне, и потому академику Лизандро Лейте не удалось заблаговременно подготовить своего подопечного к скверным новостям. Тщетно пытался он узнать, где находится полковник и как с ним можно связаться. Перед своим внезапным отъездом Перейра позвонил ему:

— Я уезжаю на несколько дней по срочному делу... Отложим визит к послу до моего возвращения.

— Поезжай, ни о чём не тревожься, я все объясню Франселино. А когда вернешься, составим расписание визитов. Видишь, как хорошо быть единственным кандидатом: можно никуда не торопиться. Поезжай спокойно, я на страже, — необдуманно добавил Лейте.

Немедленно после «поминального заседания» он отнес заявление полковника в секретариат Академии. Ли­зандро видел, что вся страна объята ужасом: никто не посмел баллотироваться, бросив вызов всемогущему полковнику, за которым стояло правительство. Сначала Лейте регулярно наведывался в Малый Трианон, обменивался любезностями с президентом и с удовлетворением отмечал, что всё тихо. Потом он совсем успокоился, счёл подобную бдительность излишней и обременительной и стал появляться в Академии только изредка, ограничиваясь телефонными разговорами с коллегами по «бессмертию». Лейте предрекал, что после избрания полковника для Академии начнется эра благоденствия, золотой век.

Выполняя своё обещание, в тот вечер, когда его любезный друг Агналдо отбыл в командировку, Лизандро Лейте отправился к послу Франселино Алмейде, который жил один, если не считать старой служанки, носившей титул домоправительницы. Лейте собирался от имени полковника принести извинения и назначить дату нового визита, в ходе которого Перейра лично засвидетельствует академику свое почтение и заручится его поддержкой. Все кандидаты в Академию непременно наносили первый визит послу Франселино Алмейде, старейшине Академии, единственному из членов-учредителей этой почтенной корпорации, кто еще был жив.

Домоправительница провела Лейте в комнату и попросила подождать. Тут Лизандро бросилась в глаза великолепная корзина с заморскими фруктами, жестяными коробками английских бисквитов, плитками швейцарского шоколада, бутылками португальских портвейнов и хинных настоек. Рядом, на столе, лежал конверт, помеченный фирменным знаком лучшей и самой дорогой кондитерской в Рио, «Рамос и Рамос», и записка следующего содержания: «Выдающемуся дипломату и прославленному писателю Франселино Алмейде в знак глубокого уважения от генерала Валдомиро Морейры». Лизандро было небезызвестно имя генерала и почерк, которым была написана записка, — такие каракули могла вывести только коварная рука второго Макиавелли — академика Афранио Портелы. Лейте был ошарашен: что означает эта колоссальная корзина, это по-королевски щедрое подношение? Он и сам не так давно послал Франселино корзину фруктов — правда, не такую роскошную и не из такой дорогой кондитерской, — прикрепив к ней визитную карточку полковника Перейры. Проклятый Портела, бессовестный плагиатор!

Франселино Алмейда, льстец, любезник, приятнейший светский говорун, далеко продвинулся по лестнице дипломатических рангов: он был послом в Бельгии, Швеции, Японии, состоял в должности генерального секретаря министерства иностранных дел, и «бессмертие» было ему просто необходимо. В возрасте двадцати восьми лет Алмейда, сочинив тощий сборничек рассказов и восторженное исследование о творчестве Машадо де Ассиза — как видим, создать он успел не очень много, — стал одним из сорока писателей, основавших Бразильскую Академию. В те далекие времена это не вызвало ни удивления, ни зависти, потому что новорожденная Академия была учреждением бедным, никому решительно не известным, не имела даже своего помещения и не выдавала жетонов. Через тридцать лет Франселино пополнил свою скудную библиографию еще одним сочинением — книгой путевых заметок «Страна восходящего солнца». Алмейда был не женат и в тех странах, где протекала его деятельность, пользовался славой неутомимого обожателя прекрасной половины человечества.

Сэр Энтони Локк, посол её величества королевы Великобритании при дворе микадо, выйдя в отставку, опубликовал скандальнейшие «Мемуары», в которых не раз поминает мистера Алмейду — вместе с ним они изучали ночную жизнь и эротические ритуалы Востока. В течение всего срока своего пребывания в Японии они достойно представляли дипломатический корпус в злачных местах Токио, стяжав там себе громкую славу. Так продолжалось до тех пор, пока «mister Almeida, the geisha's king»[[13]](#footnote-13) не перевели к новому месту службы, что глубоко опечалило английского посла. Книга Франселино, посвященная японским обычаям, умалчивает о сэре Энтони Локке, равно как и о ночной жизни Токио, несмотря на то, что сам Алмейда с возрастом вовсе не стал нечувствительным к женским прелестям — скорее, наоборот.

Узнав о приходе коллеги, он вышел к нему, предшествуемый домоправительницей, — она несла на подносе две рюмки, бутылку портвейна и тарелочку с бисквитами. Старейшина Академии выслушал и принял извинения полковника, переданные ему Лизандро.

— Не беда, условимся о новой встрече в удобное ему время. Только не завтра — завтра я принимаю генерала Валдомиро Морейру. Скажу вам по секрету, милый мой Лизандро: самое лучшее в нашей Академии — это выборы. Кандидаты так любезны, так... обходительны. Кому бы понадобился я, дряхлый старик, отставной посол, получающий от Итамарати жалкую пенсию — только-только с голоду не умереть, — если бы не выборы? Никому. Но стоит лишь появиться вакансии, и вот, полюбуйтесь: за десять дней это уже вторая корзина с фруктами, винами и сластями — все заграничное и высшего качества... — С этими словами он обмакнул кусочек английского бисквита в португальский портвейн.

— Вы хотите сказать, что генерал Морейра тоже намерен баллотироваться?

— Разве вы не знаете? Он только что подал заявление. Это опасный соперник, друг мой.

Посол ни словом не обмолвился о хорошенькой секретарше генерала, которая появилась вслед за рассыльным с корзиной, чтобы уточнить день и час предполагаемого визита. Привлекательная эта девица не отличалась, судя по всему, чрезмерной строгостью нрава: она довольно долго и оживлённо беседовала с Франселино, дав ему понять, что юнцы ее не интересуют — все они такие неотесанные и легкомысленные. Очевидно, она имела в виду, что дипломат Франселино Алмейда, напротив, на редкость утончен и изыскан.

Лизандро, договорившись о том, что позвонит Франселино немедленно по возвращении полковника, во всю прыть понёсся в Академию, Вот тебе и единственный кандидат!..

### СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА

— Разве есть что-нибудь, чего я не сделала бы для него?

«Медная роза, медовая роза, юная роза-бутон», — вспоминает местре Афранио, и нежная улыбка трогает губы старого академика, сидящего за столиком маленького молочного кафе. Девушка краснеет. Волосы у нее длинные и гладкие, как у индианки, губы пухлые, как у негритянки, глаза зелёные, как у белой...

— Знаете, он ведь присылал мне розы, даже когда всё уже кончилось... Другого такого нет на свете... И не будет.

Афранио Портела объяснил ей ситуацию, рассказал, как важно сохранить память о Бруно и какое значение имеет голос члена-учредителя, единственного оставшегося в живых основателя Академии. Всю свою жизнь Франселино Алмейда угождал только сильным мира сего — и женщинам. Полковник Агналдо Сампайо Перейра — сильнейший из сильных.

— Соблазнить древнего старца? — переспрашивает удивленная Роза. — А он ещё смотрит на женщин?

— Ещё как смотрит! Я сам свидетель.

Несколько месяцев назад в дверях Малого Трианона они с Бруно заметили, как жадно вспыхнули глаза дряхлого академика, устремленные на смуглые ноги проходившей мимо девушки. Портела отпустил какое-то ироническое замечание, но Бруно заступился за Алмейду и сказал, что когда сам он больше ничего не сможет брать от жизни, превратится в никому не нужную рухлядь, то будет греться на солнышке где-нибудь в сквере, провожать женщин долгим взглядом, и будет ему хорошо.

Местре Афранио и Роза замолчали, погрузились в воспоминания: он думал о друге, она — о возлюбленном.

Роза допила своё молоко. Когда-то она, восемнадцатилетняя девушка, соблазнила зрелого мужчину, который был на тридцать лет её старше. Она влюбилась в него в тот самый миг, когда увидела из окна ателье, где важные и богатые дамы шили себе туалеты.

### ПОРТНИХА

Роза читала «Пятичасовой чай» — трогательный и забавный рассказ, который Афранио Портела написал про нее и про Бруно. Рассказ этот показался ей милым, романтическим и выдуманным от первого до последнего слова. Всё вроде бы так, как было по правде — предложение руки и сердца, например, — и всё наоборот. Афранио описал опытного соблазнителя, бессовестного донжуана, который свёл с ума неопытную девушку, наигрался ею и бросил. Всё не так, всё наоборот! Но кто поверит Розе, если она и расскажет всё без утайки?! Даже Афранио Портела, великий знаток женской души, не поверит, что бедная юная швейка вела себя так, как она себя вела. Да и Роза не смогла бы объяснить, почему она решилась тогда... Одно только Роза знает твёрдо: никакое это было не безумие и уж вовсе не «упоение сладострастья». Просто любовь, полдневное солнце и полночная луна. Налетел какой-то ненасытный и нежданный ураган, ливень затопил землю, молнии распороли небо. Кто бы мог подумать, что Роза решится на безрассудное, безоглядное, безграничное безумие?

...Невозмутимо и серьезно проходила она под градом комплиментов, предложений, приглашений по своей улице в пригороде Рио. Сам Зекан, полузащитник «Мадурейра-Атлетико», которого уже переманивали в знаменитый клуб «Ботафого», напрасно терял время, врастая в землю при появлении Розы. «Вот гордячка — видно, принца ждёт...» — судачили соседи, когда она, отрешённая и занятая своими мыслями, шла мимо. А мысли её витали далеко: Роза думала о незнакомце за столиком кафе «Коломбо». Он был красивей любого киноактера — нечего и сравнивать. Роза не знала, что он поэт, и поэт знаменитый. Она полюбила его самого, а уж потом открылись ей его стихи. Неизречённа щедрость господня.

«...Я всё смотрела на него да смотрела, и вот наконец он поднял голову и в окне на втором этаже увидел меня».

Свершилось: поэт поднял голову и в окне на втором этаже увидел девушку, которая смотрела на него и улыбалась. Он помедлил мгновение, всмотрелся повнимательней, словно отгадывал какую-то загадку, поставил на стол, не донеся до губ, рюмку смородинового ликёра. Потом снова повернулся к соседу, стал слушать, что тот ему говорит. «Хорошенькая...» — отметил про себя Бруно.

Он приходил в «Коломбо» не каждый день — то он тут, то нет его. Роза ждала. Роза теряла терпение, Роза колола себе пальцы иголкой. Однажды Бруно перед уходом снова взглянул в её окно — быть может, его рассеянный взгляд по чистой случайности встретился с взглядом Розы. Она помахала ему на прощание, и он с улыбкой ответил. На следующий день Роза расхрабрилась и послала ему воздушный поцелуй. Она была скромна и застенчива, она почти никогда не прихорашивалась и не подкрашивалась, ей исполнилось восемнадцать лет, и у неё ещё не было возлюбленного. Снедавшее её пламя зажёг Бруно — так упавшая с небес молния зажигает лес.

...После этого он не появлялся целую неделю. Тогда Роза на сбережённые деньги — она брала работу на дом — купила его книгу. Модистка мадам Пик, заметив, на кого так часто смотрит её помощница, сказала ей: «Un poete celebre, ma petite, toutes les femmes veulent coucher aves lui»[[14]](#footnote-14). В витрине книжной лавки Роза увидела его книгу — это было очередное издание сборника «Танцовщик и цветок», — спросила, сколько она стоит, и стала работать сверхурочно. В школе Роза училась не хуже других и сейчас без особого труда перевела фразу мадам Пик. Ах, Роза и сама не могла думать ни о чём другом. Когда же она прочла стихи, то поняла, что красивый сеньор из «Коломбо» — это переменчивый трубадур, неисправимый бонвиван, несравненный любовник. Что ж, честная девушка из пригорода решила стать достойной его, превратилась в доступную и неистовую хищницу, «женщину-вамп».

Когда Бруно снова появился в «Коломбо» и рассеянно поднял глаза, Роза сделала ему знак и, схватив кни­гу, слетела вниз по ступенькам. Она запыхалась от бега, и поэт, увидев её перед собой, обомлел: он и не думал, что она так хороша. Бруно радовался всякий раз, когда узнавал, что его стихи знают и любят не только объевшиеся поэзией снобы, но и простые люди из народа — вот такие, как эта очаровательная швея. Ангел небесный, а не швея.

Бруно сидел за столиком в одиночестве: приятель его еще не пришёл. Он попросил Розу сесть, предложил ей выпить чаю или ликера: сам он по привычке, приобре­тенной в бистро Сен-Жермен-де-Пре, потягивал свой неизменный черносмородиновый ликёр. Не сводя глаз с поэта, девушка покачала головой.

— Меня зовут Роза Мейрелес да Энкарнасан, можно просто Роза.

Бруно достал карандаш и стал писать на титульном листе, вырисовывая каждую букву:

— «Розе — от автора с...» Так с чем же? — спросил он шутя.

— С поцелуем.

Позабавленный Бруно улыбнулся. Роза смотрела, как движется его холеная рука, выводя на белой бумаге безупречно ровные строчки. Всё в этом человеке было без­упречно...

— Что же ты стоишь? Садись, — мягко и ласково сказал он.

— Тут я с вами сидеть не хочу, — ответила Роза, прежде чем успела подумать, что говорит.

— А где хочешь? — не то удивленно, не то насмешливо прозвучали его слова.

— Где угодно.

— А когда? — Бруно ещё посмеивался, но уже явно был заинтересован.

— Хоть сегодня. Я кончаю работу в шесть часов.

Бруно взглянул на нее: совсем девочка, в простеньком, но изящном платье, которое она скроила и сшила своими руками. Она годилась поэту в дочери. Без сомнения, бедна. Она понравилась поэту, но он вовсе не собирался злоупотреблять теми чувствами, которые пробудили в душе девушки его стихи. Будь она постарше, будь она барышней из общества — одной из тех, кому не терпится все испробовать, — Бруно колебаться бы не стал. А тут в его власти оказалась потерявшая голову девчонка из предместья, швейка из ателье, сама зарабатывающая себе на пропитание. Прелестная девушка, кровь скольких рас смешалась в ней?! Жаль, но таких он не трогает. Ну да не беда: в красивых женщинах — богатых и праздных — недостатка нет. Он пошел на попятную:

— Сегодня я никак не могу. Приглашен на ужин, извини.

— Тогда завтра. В любое время. Я кончаю в шесть, но могу уйти пораньше. Завтра?.. — Зеленые глаза сверкают, рот полуоткрыт. Вся она — воплощенное требование, назначь ей свидание — да и только.

Ситуация уже не казалась Бруно забавной. Еще никогда не видел он женщины, так откровенно и бесхитростно требовавшей любви. Он сдался. Почему бы и нет, в конце концов, раз она так настаивает?! Сбежать всегда можно...

— Завтра так завтра, В шесть я буду ждать у книж­ной лавки.

Он протянул ей надписанную книгу, но Розе одной книги было мало.

— А поцелуй? — Пухлые негритянские губы жаром опахнули смуглую, как у араба, щеку поэта. Бруно и Роза были похожи: оба с востока, из Африки.

Вспоминая потом эту сцену, она часто спрашивала себя: так кто же истинная Роза — эта не знающая запретов женщина, рожденная для страсти, или та, строгих правил, скромная и серьезная девушка из предместья, которую изобразил в своем рассказе местре Афранио?

Это она первая произнесла слово «любовь», это ей пришлось соблазнить Бруно, потому что непостоянный и ветреный волокита, давно потерявший счет своим победам, думал, что перед ним наивная, без памяти влюбившаяся девчонка, которая запуталась и сама не знает, где стихи, а где реальность, и был в большом затруднении: как поступить, чтобы не разочаровать ее, не причинить ей боли, и, с другой стороны, как вести себя, чтобы не сбить ее с пути, не сломать ей судьбу непоправимым шагом, не сделать несчастной на всю жизнь?.. Бруно гулял с Розой по улицам, угощал в ресторанчиках, где бывало мало посетителей, неведомыми ей кушаньями, показывал самые очаровательные уголки Рио, приносил ей книги — свои и чужие, — дарил ей розы, шептал строки стихов, сидя рядом с нею в Ботаническом саду — на скамейке они выглядели точь-в-точь как влюбленные со слащавой открытки, — целовал ей исколотые иглой пальцы, смуглую щеку, зеленые глаза и сообщал по секрету Афранио, что этот его роман — совсем особенный, забавный и необычный: связь платоническая и поэтическая, на удивление целомудренная.

Но пламя страсти бушевало в Розе всё сильней, и, как ни нравились ей каждое слово, каждое прикосновение Бруно, каждая его мимолетная ласка — гладил ли он её по волосам или целовал в затылок, — удовлетвориться такой малостью она вовсе не собиралась. Она подставляла ему губы, и однажды Бруно пришлось ее поцеловать. Впрочем, может быть, это она его поцеловала — редкий случай с Бруно: раньше в подобных ситуациях игру вел он. Роза хотела стать не только возлюбленной, но и любовницей.

Она была не в силах больше вынести тех ограниче­ний, на которые обрек ее и себя чересчур осторожный и деликатный Бруно, и попросила, чтобы он показал ей свой дом в Санта-Александрине. В последнем номере «Ревиста дос Сабадос» о нем был помещен репортаж с фотографиями: увешанные картинами стены, вывезенные из дальних странствий диковины, мраморный купидон под потолком, увитое плющом крыльцо и на ступеньке — сам хозяин в небрежной позе.

— А ты не боишься?

— Нисколько. Мне очень хочется...

Взявшись за руки, они пересекли сад. Бруно на ходу сочинял стихи: «Подсолнухи и ящерки приветствуют тебя», а потом, в гостиной, хотел объяснить ей смысл сюрреалистического полотна, но полная решимости Роза направилась в спальню — с сюрреализмом успеется.

«Разумеется, — думал Бруно, когда она потянула его за руку и они упали на кровать, — разумеется — ух ты! — разумеется, она уже спала до меня с десятком мужчин, а я-то, старый дурак, считал, что она вопло­щенная невинность и добродетель...» Бруно ошибся и на этот раз. Роза на самом деле была воплощением многих добродетелей, и среди прочих — отваги и цельности.

Через некоторое время Бруно — соблазнённый и донельзя удивлённый фавн — вышел в сад, окружавший дом, и оборвал с кустов все розы. Получилась целая охапка. Роза, распростертая на белоснежной простыне, являвшей следы ее недавнего прощания с девичеством, казалось, возносила хвалу господу. Лепестками роз осыпал Бруно это из бронзы отлитое тело, эту пробужденную плоть.

...Но все же до конца понять Розу, безраздельно принять ее в свою душу Бруно не удалось. Та жадная и нежная любовь — нет на свете женщины нежнее, сказал местре Афранио, — которую питала к нему Роза и на которую он отвечал как мог, любовь, лишенная даже тени расчета или корысти, приносила поэту смутное ощущение вины. Роза ничего не требовала, но это ничего не меняло: она продолжала оставаться бедной швейкой, на­ивной девушкой, сбившейся с уготованного ей пути; не будет ни замужества, ни детей, ни семейного очага, ни безмятежного, пристойного существования. Сделав ее своей любовницей, Бруно круто повернул ее судьбу и теперь испытывал чувство вины за то неопределенное будущее, которое ждало обесчещенную девушку.

Прошло несколько месяцев, и вот наконец настал день, когда Бруно с интересом и вожделением взглянул на другую женщину. В этот же день он счел себя обязанным жениться на Розе, чтобы не оставлять ее без защиты.

Роза ответила на его предложением отказом. Бруно, человек кристальной честности, не способный ни к ко­варству, ни к уверткам, ничего не смог от нее скрыть. Не задавая вопросов, Роза прекрасно поняла истинные причины его предложения. Она сказала «нет». «Я была твоей женщиной, больше мне ничего не надо. Ты не создан для семейной жизни, ты будешь плохим мужем». Прежде чем едва заметное пресыщение сменилось пренебрежением, прежде чем началась ложь, Роза ушла. Она исчезла из жизни Бруно так же, как и вошла в нее, — без объяснений.

Но и после того, как все было кончено, он продолжал посылать ей розы — в годовщины их первой встре­чи, первого обладания на усыпанной лепестками постели и в память их последней, горькой и сладостной ночи, ночи любви и неожиданного разрыва. Розе были посвящены самые таинственные и странные стихи — цикл «Амазонская мавританка»: «Вся ты темною тайной была».

### БЫВШИЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ

Итак, нет больше единственного кандидата, плакало единогласное избрание. Лизандро Лейте, запустив пальцы в свою львиную гриву, чешет в затылке: то-то порадуется полковник, когда узнает, что обе грандиозные перспективы, которые посулил ему жизнерадостный юрист, накрылись. Лейте хотел быть главным и единственным благодетелем могущественного полковника, он ни с кем не желал делить ответственность за избрание Перейры, всецело посвятив себя предвыборной борьбе, А теперь ему одному предстоит расхлебывать все неприятности — последствия того, что его первоначальные оптимистические прогнозы не сбылись. Проклятый Портела! Покуда Лизандро обрабатывал ректора Раула Лимейру, убеждая его не лезть на рожон и дождаться следующей вакансии — «Персио уже не выходит из дому, врачи отказались делать операцию: опухоль в легком дала метастазы...», этот дьявол Портела выкопал откуда-то генерала, обладателя нескольких напечатанных книг и атлетической фигуры. Теперь он ходит от одного «бес­смертного» к другому и, судя по всему, намеревается покончить с предвыборными визитами как можно скорее.

«Гнусный стряпчий» вполне оправдывал своё прозвище: он искал доказательство того, что в появлении второго претендента есть и несомненная выгода, и он это доказательство нашел. Когда полковник Перейра, сокрушив врагов народа, или, лучше сказать, диктатуры и Гитлера, вернулся из командировки, Лейте изложил ему свои соображения.

Фронт борьбы ширится. Изменники и предатели про­сочились даже в Бразильскую Академию и выставили кандидатом генерала Валдомиро Морейру, чтобы у «бессмертных» появилась возможность выбирать, — тем самым эти негодяи желали сорвать единодушное избрание Перейры. Они просчитались: им не удалось даже хоть сколько-нибудь поколебать твердую позицию полковника, Кто другому яму роет, сам в неё попадет: Афранио Портела, Эвандро Нунес, Фигейредо Жуниор и иже с ними теперь не смогут оставить бюллетени незаполненными. Проголосовав за одного из кандидатов, академик просто-напросто отдает ему предпочтение, в то время как незаполненный бюллетень со всей оскорбительностью свидетельствует о протесте, об отвращении. Таким образом, эта угроза нас миновала!

— Угрозой, исходящей от врага, можно только гордиться! — Последние события огорчили полковника, а доводы Лейте не убедили.

— Разумеется, если ты, друг мой, надавишь на генерала — вы ведь с ним, так сказать, товарищи по оружию — и убедишь его отказаться от борьбы, то я постараюсь уговорить наших франкофилов проголосовать за тебя. Ну, а от самых артачливых можно будет добиться обещания воздержаться...

— Даже не подумаю! Генерал меня на дух не переносит: считает, что я приложил руку к его отставке, и, в общем, недалёк от истины. Да кто же станет поддерживать это ничтожество, которого за полную бездарность выгнали из «Коррейо до Рио» вместе с его военными комментариями?! Жалкий злопыхатель! Что у него за душой, кроме спеси?

— Конечно, конечно. Больше семи-восьми голосов ему не набрать. И уж никак больше десятка.

— Десятка? — Полковник строго нахмурил брови.

— Двух или трёх его возможных союзников надо будет постараться переманить на нашу сторону. Я уже предпринимаю необходимые шаги в этом направлении.

— Это совершенно необходимо. Восемь голосов за Морейру, спятившего на «линии Мажино»? Немыслимо! Я рассчитываю на вас, сеньор Лейте.

Обескураженный полковник не назвал его по имени, как обычно. Академик понял, что в замене нежного «Лизандро» сурово-официальным «сеньором Лейте» таится упрёк, но попытался вновь завоевать доверие и восстановить прежние дружески-фамильярные отношения:

— Положись на меня. Я не пожалею сил. У меня большой опыт: я знаю, что кому сказать. Ну а теперь, если ты не против, давай-ка составим график визитов. Мы потеряли драгоценное время из-за твоей командировки: теперь надо навёрстывать упущенное. Не правда ли, милый Агналдо?

— Истинная правда, любезный Лизандро.

Лейте вздыхает с облегчением, достает из папки два списка академиков, один протягивает бывшему единственному кандидату:

— За дело, полковник! С богом, ура!

### ЗАДАЧА ДНЯ

Раздражение полковника Агналдо Сампайо Перейры, и без того раздосадованного намерением генерала баллотироваться, ещё увеличилось после того, как он нанёс первые пять визитов. Ему — человеку, начавшему избирательную кампанию при отсутствии соперника и в предвкушении единогласного избрания, — исход битвы ныне представлялся туманным и неопределённым. Поражения он не боялся и верил в победу, но было ясно, что триумфального шествия к креслу академика под аплодисменты «бессмертных» не будет. Злопамятный Морейра-«Мажино» сумеет, судя по всему, набрать больше десяти голосов — двенадцать, а то и все пятнадцать. Нужно серьёзно поговорить с Лизандро, выработать новую диспозицию и начать наступление, которое низвергнет в прах тщеславного генерала. По сведениям из достоверных источников, этот фанфарон и наглец не сомневался в победе.

Полковник посетил пятерых академиков: двое из них обещали ему безоговорочное содействие, один из этих двоих, сверх того, снабдил ценнейшей информацией.

По совету Лизандро, оставляя в машине своих тяже­лых на руку молодцов из личной охраны (молодцы эти были с особой тщательностью отобраны им самим среди личного состава специальной полиции), полковник Перейра (в военной форме, чтобы сразу стало ясно, кто именно намерен баллотироваться) после первых приветствий и обмена любезностями произносил свою речь, очень похожую на речь генерала Морейры. Впрочем, похожи эти речи были только по содержанию, но не по форме, ибо над одной трудился Афранио Портела, а над другой — Лизандро Лейте. Оба кандидата выказали равную доблесть и литературное дарование, оба, являясь писателями и в то же время представителями высшего офицерства, претендовали на место в Академии, спокон века занимаемое вооруженными силами. Сампайо Перейра ещё добавлял, что решился на этот шаг, лишь уступив настояниям товарищей по оружию, во главе с самим военным министром, которому он, кадровый офицер на ответственной должности, подчинился. Под конец он приберегал одну подробность — незначительную на первый взгляд, но весьма ценную для тех, кто ждал от него по­хвального слова об Антонио Бруно на церемонии вступления. Он не только политический публицист, литературное наследие которого составляет двенадцать томов и позволяет по праву претендовать на место в Академии, освободившееся после смерти Антонио Бруно, по и поэт: автор книги романтических стихов и, по собственным его словам, «старательный ученик покойного мастера, — ученик, желающий стать наследником».

Один из академиков, обещавший ему полную поддержку, выказал себя горячим почитателем полковника и незаурядным интриганом. Он поблагодарил за при­сылку двенадцати книг (они были разосланы всем «бессмертным» с витиеватыми дарственными надписями), большая часть которых ему, усердному читателю и единомышленнику мудрого Перейры, уже была известна. Затем он сообщил полковнику, что, по его мнению, изби­рательная кампания ведется не совсем так, как надо. Разумеется, активная и плодотворная деятельность высокочтимого Лизандро Лейте заслуживает живейшего восхищения, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что почтенный юрист допустил целый ряд серьезных ошибок, оставив без внимания несколько важных факторов. Устремив все усилия на Раула Лимейру, который, кстати, и не думает баллотироваться, Лейте упустил из вида военные круги, откуда исходит ныне основная угроза. Кому сейчас принадлежит власть в нашей стране? Бла­годарение господу, военным: они спасают нас от анархии, они оберегают порядок и нравственность. Поэтому и опасаться полковник Перейра должен только военного. Конечно, генерал Морейра никогда не победит на выборах в Академию, но он может завоевать голоса нескольких академиков, — голоса, которые должны и могли бы принадлежать полковнику, если бы Лейте не возглавил избирательную кампанию единолично, воспрепятствовав тому, чтобы остальные друзья полковника содействовали его победе...

Перейра полон внимания: он высоко ценит доносчиков и интриганов, он опирается на них в своей повседневной борьбе со смутой и беспорядками.

— Моему избранию могут оказать содействие все мои друзья, не только академик Лейте, — я ему, конечно, очень благодарен за всё, что он сделал, но в его способностях, скажу вам честно, стал последнее время сомневаться... Что вы мне посоветуете?

— Пусть военный министр направит письма членам Академии. Тем, с кем он знаком лично, можно позвонить по телефону. Кто устоит перед просьбой самого министра?

Двое «бессмертных» обещали подать свой голос за полковника Перейру; двое других отказались — причем по одинаковой причине и даже в одинаковых выражениях: «...к величайшему сожалению, господин полковник опоздал, они уже связали себя обещанием проголосовать за другого выдающегося писателя и представителя вооруженных сил, генерала Валдомиро Морейру». Полковник чувствовал себя так, словно его отхлестали по щекам: он был взбешен и едва сдерживался, чтобы при прощании не выказать неудовольствия и сохранить светские приличия. Однако Лизандро Лейте было недвусмысленно дано понять, что он проштрафился: имена этих двух академиков не значились в числе восьми приверженцев генерала Морейры.

Тоном гораздо менее сердечным и любезным, чем хотелось бы Лейте, полковник сформулировал задачу дня: ввести в действие силы внешних союзников — военного министра, начальника Генерального штаба, всех власть имущих. Сторонникам посулить золотые горы, отступников — застращать!

### ДИПЛОМАТ

Итак, два голоса «за», два — «против», а посол Франселино Алмейда — по обычаю, полковник Перейра нанес традиционный визит ему первому — от прямого ответа ловко ушел.

Старый дипломат принимал полковника очень любезно: угощал бисквитами и хересом, благодарил за корзину с фруктами (хорошо хоть, Лизандро успел предупредить Перейру о своей инициативе после того прискорбного случая на панихиде, когда не в меру бдительные телохранители полковника едва насмерть не пришибли дряхлого старичка), рассыпался в похвалах его дарованию, но твердого обещания голосовать за него так и не дал. Он не сказал прямо «нет» — что правда, то правда, — он не сослался на то, что генерал Морейра уже успел заручиться его поддержкой. Но когда полковник, устав от обиняков и недомолвок, поставил вопрос ребром и сказал:

— Я надеюсь, что вы окажете мне честь, проголосовав за меня, — дипломат, вправляя турецкую сигарету в длинный мраморный мундштук, ответил:

— Вы вправе претендовать на большее. Не беспокойтесь, можете считать себя уже избранным, мой голос вам и не понадобится. — И полковнику очень не понравилась изысканная уклончивость этого ответа.

Поди разбери, что он хочет этим сказать! Школа Итамарати!.. Полковник привык называть вещи своими именами и постоянно становился в тупик, не зная, как держать себя с этим сморщенным шустрым человечком, который обволакивал его паутиной словес. Хотя генерал Морейра уже побывал у дипломата, тот ни словом о нём на обмолвился, ни разу не назвал его имени. Что бы это могло значить? А черт его знает! Разговор был для полковника сущей пыткой: собеседник ускользал от него, под любым предлогом переводил беседу на другую тему — то хвалил бисквиты, то превозносил херес, то демонстрировал свой окаянный мундштук. Куда легче разговаривать с подрывными элементами — на каждую их увертку полковник может ответить вескими доводами, да еще какими вескими... Любезный до последней степени Франселино проводил полковника до дверей:

— Смело можете заняться своей речью на церемонии вступления. Книги Бруно у вас есть? Вот это был поэт! До чего же он любил женщин!

По всей видимости, дипломат собирался проголосовать за полковника, но почему же в таком случае он не сказал: «рассчитывайте на мой голос»? Лизандро успокаивал оскорблённого полковника как мог; клялся, что Алмейда не подведёт: просто у него такая манера выражаться — дипломатическая служба учит не говорить всё как есть, а подразумевать и намекать, надеясь на сообразительность собеседника. Однако нет сомнения, что Франселино Алмейда проголосует за полковника — за кандидата, выдвинутого правительством страны. На что ему генерал Морейра, что тот может предложить Алмейде, кроме очередной корзины, да и та будет куплена на деньги Афранио Портелы. Корзина великолепная, спору нет, но, чтобы завоевать голос прожженного дипломата, её явно недостаточно.

Тем не менее Лейте всё же посоветовал полковнику срочно послать Алмейде дюжину шампанского (расходы, само собой, провести по статье «борьба с коммунизмом»).

— Есть прекрасное шампанское из штата Сан-Пауло. Называется...

С отвращением вспомнив вкус красного вина из Рио-Гранде-до-Сул («живой виноград! нектар!»), Лейте сказал:

— Лучше не надо... Не забудь, что Франселино лет тридцать провел за границей...

— Ну и что?

— А то, что надо послать французского.

Полковник Агналдо Сампайо Перейра пожал плечами: какая, мол, разница (деньги на «борьбу с коммунизмом» отпускались в те времена без счета).

— Тогда сам выбери сорт. Вот эти-то изыски и разлагают нацию, и ведут страну к упадку.

### ПРЕДОБЕДЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА

Тревогу поднял Энрике Андраде. Этот просвещённый и тонкий знаток литературы, автор книги о бароне Рио-Бранко, страсть к политической деятельности и либеральные взгляды получил от природы и унаследовал от отца — некогда губернатора штата, потом сенатора, потом министра. Андраде был депутатом парламента, распущенного после переворота на бессрочные каникулы, и принадлежал к числу тех академиков, которые ни за что на свете не стали бы голосовать за полковника Перейру. Он входил в делегацию «бессмертных», явившуюся к ге­нералу, чтобы уговорить его баллотироваться, и с мудрой сдержанностью, столь свойственной ему, способствовал по мере сил успеху этого предприятия: он был настойчив в уговорах, сдержан в комплиментах. Андраде обладал широким кругом знакомств — среди тех, с кем он поддерживал связи, были и сторонники режима — и пользовался славой самого осведомленного человека в стране, славой человека, который умеет отличать истину от крылатой сплетни. Иные утверждают, что Андраде уже в те времена в союзе с консерваторами, либералами и левыми организовывал заговор против Нового государства.

Именно этот человек позвонил своему земляку и другу Афранио Портеле (который в своё время много сделал для того, чтобы Андраде, одолев двух опасных соперников, стал академиком) и предложил немедленно созвать заседание военного совета и сообща обсудить опасную ситуацию. Дона Розаринья желала знать намерения мужа и его друзей во всех подробностях, а потому устроила воскресный обед — в честь автора «Жизнеописания Руя Барбозы» были поданы блюда баиянской кухни, — на ко­торый академиков пригласили без жен, ибо в противном случае доне Розаринье пришлось бы занимать их разговором и, таким образом, пропустить самое интересное.

...Даже всем известный оптимист Эвандро Нунес дос Сантос был в тот день мрачен и встревожен. Было отчего: Лизандро Лейте перед протокольными визитами полковника успел обегать всех академиков и вручить каждому письмо от военного министра и прочих могуществен­ных — военных и гражданских — лиц. Лица эти настоя­тельно рекомендовали поддержать полковника Сампайо Перейру. Кроме Лизандро, две другие сволочи, — говоря о своих недругах, старый Эвандро частенько выходил за рамки академической сдержанности — занялись тем же самым. Кое-каких успехов они достигли: Маркондес, который обещал Эвандро голосовать за генерала, переменил своё решение. Министр сельского хозяйства, в ведении и на содержании которого состояла возглавляемая Маркондесом фольклорная комиссия с непостоянным штатом и неопределёнными функциями, обратился к нему с просьбой. Хороша просьба! Это было требование, приказ, ультиматум. Министр без обиняков уведомил Маркондеса, что если Маркондес, его добрый друг и полезнейший сотрудник, будет по-прежнему поддерживать генерала Морейру, заклятого врага нашего правительства, то поддержку эту нельзя будет расценить иначе как недружественный по отношению к правительству акт, и он, министр, не сможет найти оснований для того, чтобы и впредь оказывать фольклорной комиссии, успешной и плодотворной деятельности которой он, министр, так способствовал, необходимую финансовую помощь. Маркондес, припёртый к стенке, капитулировал: не мог же он, в самом деле, терять такую чудную министерскую кормушку! У него хватило порядочности явиться к Эвандро и сообщить о причинах своего отступничества.

— Правительство решило любой ценой провести Перейру в академики, — сказал Энрике Андраде. — Новое государство желает контролировать все сферы и не может допустить оппозиции. Наша Академия — учреждение весьма престижное, выборы каждого нового её члена вызывают большой общественный резонанс, именно поэтому она должна разделить общую участь. Знаете, сколько писем в поддержку Перейры получил президент меньше чем за неделю? Пять!

Полковник и его приспешники поставили под ружьё всех, кого было можно. Накануне вечером кардинал-примас рассказал Андраде, что Лизандро Лейте пытался уго­ворить его воздействовать на тех академиков, которые больше других были связаны с церковью. Примас отказался. Он не мог, разумеется, не знать, что полковник Перейра несёт прямую ответственность за пытки политзаключенных, за налёты на спящие дома в глухие предрассветные часы, за погромы в общественных и частных библиотеках, за публичные сожжения книг, за весь этот бесконечный список преступлений (только вчера архиепископ Ресифе и Олинды сообщил кардиналу о новых, весьма прискорбных происшествиях в Пернамбуко), и потому решил держаться от спора академиков подальше и церковь в него не впутывать. По сведениям Андраде, министр иностранных дел также отказался выступить на стороне полковника, потому что не раз печатно и публично осуждал слишком крутые методы службы безопасности, начальника же её попросту терпеть не мог: тот велел подслушивать телефонные разговоры, которые вел из своего министерского и домашнего кабинетов бразильский канцлер, — впрочем, ходили слухи, что долго он на этом посту не останется: уж слишком неодобрительно относится к сближению своей страны с державами «оси».

— Слава богу, что генерал Морейра не из пугливых... Но зато и писателя же вы нам откопали, Родриго! — за­ключил Андраде.

— Сами поищите — может быть, найдете кого-нибудь получше. Генерал, конечно, не семи пядей во лбу, но человек твердый и смелый. У него немало достоинств.

— Главное достоинство нашего храброго воина — это его дочь. Да простит меня дона Розаринья, но я думаю, она могла бы быть нам весьма и весьма полезна... Если бы захотела... Очень миленькая и непохожа на недотрогу...

— Перестаньте, Фигейредо, — прервала его хозяйка, — оставьте её в покое. Гений генерал или бездарность, он наш кандидат, и я позвала вас не для того, чтобы выслушивать про него гадости. Скажите мне лучше, как вы собираетесь бороться с этим... — Не желая пользоваться излюбленными выражениями своего кума Эвандро, дона Розаринья никак не могла отыскать точного определения для полковника Перейры.

— Как мы собираемся бороться?

Афранио Портела, воочию представив себе страшную картину разгрома вверенных ему войск, понял, что теперь, когда битва при Малом Трианоне вступила во вто­рую фазу и военное счастье улыбнулось неприятелю, нужно двинуть в бой все силы, все — от обоснованных обвинений до совращений и обольщений. Насчёт дочери Морейры Фигейредо прав: он, Портела, уже сам... э-э... видел её. Впрочем, можно будет отыскать девиц более ловких, опытных и свободных, чем генеральская дочь, которая сейчас, кстати, влюблена по уши...

— Боже мой, Афранио, откуда тебе известны такие подробности? — поразилась дона Розаринья.

— Агентурные сведения, моя дорогая. Я должен быть в полном курсе всего, что происходит с нашим кандидатом и его близкими. Ты и представить себе не можешь, что мне известно!..

Да, теперь пришло время забыть про стыд и про честь, потому что нет большего бесчестья и бесстыдства, чем сидеть на заседаниях Бразильской Академии рядом с нацистом — соучастником, если не организатором всех преступлений режима: это полковник Перейра устраивал костры из запрещенных книг, это он приглашал специалистов из гестапо, чтобы они поучили бразильских полицейских пытать политических заключенных. Полковника нужно провалить, чего бы это ни стоило! Нужно доказать, что в Бразилии есть ещё честные люди, что Академия останется независимой и благородной. Шутки в сторону: на карту поставлены свобода и жизнь.

Эвандро Нунес собирался в Ресифе читать лекции на юридическом факультете и желал знать, что же это за прискорбные происшествия в Пернамбуко, о которых рассказывал Андраде кардинал.

— Я слышал краем уха, что там пересажали много народу, запретили какой-то спектакль, но подробностей не знаю и не могу сказать, имеет ли полковник Перейра отношение к этим событиям. Эвандро удостоверится in 1осо[[15]](#footnote-15) и всё нам расскажет.

Заседание военного совета происходило до обеда. Не­возможно высказывать мнения и принимать решения после ватапы, каруру, мокеки и эфо[[16]](#footnote-16). Штаб сопротивления набросился на еду, как целое семейство удавов.

### ПРОИСШЕСТВИЯ В ПЕРНАМБУКО

Если не считать выступления драматурга Аристеу Арабойи по радио и протеста, опубликованного в конфискованном номере журнала «Вестник Каруару», то можно сказать, что происшествия в Пернамбуко не были освещены средствами массовой информации вовсе. Несмотря на то что протест был подписан виднейшими деятелями культуры — а может быть, именно поэтому, — цензура запретила печатать не только сам протест, но и любое упоминание о событиях, ответом на которые он явился. Однако «Вестник Каруару» отличался таким ничтожным объемом и выходил таким крошечным тиражом, что дежурный цензор Департамента печати и пропаганды просто-напросто забыл о его существовании, благодаря чему журнальчик этот получил возможность и по сей день бахвалиться, что опубликовал протест представителей бразильской интеллигенции, причем на первой странице. Объясняется это просто: в числе подписавших протест был и главный редактор «Вестника Каруару» фольклорист Жоан Конде. Номер конфисковали, цензору влепили выговор. При повторном недосмотре журнал бы закрыли, а цензора на благо отчизны и в соответствии с неумолимой сто семьдесят седьмой статьей новой конституции выгнали бы с государственной службы.

События в Пернамбуко начались в ту минуту, когда лейтенант военной полиции Алирио Бастос, известный также под кличкой Цепной, со своими бесстрашными солдатами по бревнышку разнес балаган, в котором происходило представление кукольного театра. Дело было на окраине Ресифе, в бедном квартале, где вперемежку живут рабочие и мелкие крестьяне-арендаторы. Коротенькая пьеска рассказывала о злоключениях одной семьи, страдающей от домогательств буйного и распутного богача фабриканта. Осуществить его гнусные намерения фабриканту помогают полицейские и сам дьявол. Покуда полицейские заставляют главу семьи Жоанзиньо ночь напролет рубить сахарный тростник, сатана толкает его хорошенькую жену Шику в объятия сластолюбивого богача. У солдат волчий аппетит, луженые желудки, а брюхо набито брюквой — пощады не жди. Жоанзиньо, Шике и ребятишкам остается уповать только на покровительство девы Марии и на собственное хитроумие.

Неграмотный автор пьесы с простодушной ловкостью так закрутил интригу, что победу в конце концов одерживает Жоанзиньо, несмотря на то что враги во много раз сильнее и богаче его. Он обводит полицейских вокруг пальца, а Пречистая дева творит великое чудо: насылает на неуемного богача неизлечимое бессилие. Бравые молодцы-полицейские теряют мужскую стать, пищат тоненькими голосами, и Вельзевул, на которого, как известно, полагаться нельзя, уволакивает недавних союзников в преисподнюю. Публика, сплошь состоявшая из бедня­ков, хохотала и аплодировала — грубый фарс пробудил в них надежду, топорные куклы напомнили об искусстве. В Ресифе и окрестных городках, на плантациях и фабриках появились десятки балаганов, наскоро сколоченных из старых ящиков, и на этих немудрящих подмостках ар­тисты почти задаром показывали чудеса и правду, забавляли и поучали.

Неизвестно, кто донёс на них. Лейтенант Алирио-Цепной, угрюмый сутенер — много женщин в округе вы­ходили на панель, отдавая ему выручку, — с четырьмя солдатами разломали балаганчик, отдубасили хозяина вместе с помощником. Досталось и зрителям. Кукольни­ки были препровождены в комиссариат и там примерно наказаны: дабы внушить уважение к мундиру, их избили до полусмерти. Помощнику — сыну хозяина — ещё не исполнилось пятнадцати.

Через несколько дней их выпустили, и они пошли искать заступничества у драматурга Аристеу Арабойи, который брал за основу своих пьес, с успехом шедших в Бразилии и за границей, народные «ауто» Северо-Восто­ка страны и дружил с уличными певцами, жонглерами, художниками. Кукольники рассказали ему, как было дело, и показали следы от побоев. Драматург, ни минуты не колеблясь, выступил по радио, в самой популярной программе, покрыв позором действия военной полиции и Цепного лейтенанта.

Возмущенное выступление Арабойи не прошло незамеченным: ДПП строго предупредил «Радио-Олинду», прервал на неопределенный срок выход программы в эфир, а военная полиция пошла войной против кукольных балаганов: во всём штате Пернамбуко, а больше всего в Ресифе, Олинде и их пригородах, ломали театрики, конфисковывали кукол, изгоняли кукольников.

Однако Аристеу Арабойа был родом из сертанов, а значит, упрям как чёрт и отважен. Он решил не сдаваться и, прямиком отправившись к председателю «Общества любителей театра» Валдемару Оливейре, человеку весьма уважаемому в самых различных кругах, предложил ему перенести на благородные подмостки театра «Санта-Изабел» забавные и печальные истории одноактного кукольного спектакля под названием «Господня кукла», текст для которого он сочинит сам. Весь сбор поступит в пользу пострадавших от полиции.

Валдемар Оливейра и Аристеу Арабойа были людьми настолько известными, что местная цензура заколебалась, не зная, запретить спектакль или все-таки разрешить. Так и не решив этой проблемы, она оставила ее на усмотрение федерального начальства, а то в свою очередь поставило в известность верховное руководство службы государственной безопасности. Вопрос был серьёзным: в спектакле затрагивались вооруженные силы. Наконец дело попало в руки полковника Перейры; тут всё и кончилось: полковник моментально квалифициро­вал кукольный спектакль как подрывную акцию, льющую воду на мельницу международного коммунизма. Он приказал цензуре запретить представление, а ДПП — проследить, чтобы ни в печати, ни по радио не появилось о нём никаких упоминаний.

Покуда продолжалась бюрократическая волокита, организаторы спектакля времени даром не теряли: все билеты были распроданы, день и час представления назначен. Всё было готово. Если Рио молчит, значит в высоких сферах не находят в этой затее ничего предосудительного. Пернамбуканский цензор думал-думал, да и разрешил. Поставил свою визу.

Театр «Санта-Изабел» был переполнен. Вот-вот должен был подняться занавес, но в эту минуту солдаты, примкнув штыки, оцепили здание. Зрительный зал очистили, актеров прогнали взашей. Арабойа и Оливейра оказались в Управлении безопасности штата, и там им дали понять, что начальник полиции выполнял приказ из Рио, отданный лично полковником Перейрой. В слу­чае сопротивления местные власти получили указание действовать на основании закона о национальной безопасности: так что Арабойа и Оливейра должны были радоваться, что дёшево отделались и не попали под суд. Впрочем, в картотеку их внести успели: сфотографировали анфас и в профиль с номером на груди, сняли отпечатки пальцев.

Но эти интеллигенты из Пернамбуко оказались людьми на редкость упрямыми. Арабойа не только не успокоился, а, напротив, сочинил протест-обращение, который подписали литераторы, музыканты, художники, актеры, университетские профессора — словом, люди самых раз­личных положений и убеждений, начиная со всемирно известного социолога, «нашей национальной гордости», и кончая автором книги о творчестве Эса де Кейроша — несомненным коммунистом. В протесте сообщалось о бес­чинствах властей, преследующих кукольников и вступившихся за них деятелей театра, и назывались лишь два гонителя: лейтенант Алирио Бастос, всем известный сводник и сутенер, и полковник Перейра, его высокопоставленный соучастник.

Как известно, этот протест был напечатан только на страницах «Вестника Каруару», но в тысячах подпольных копий он разошёлся по стране. Некоторых его авторов посадили: впрочем, исследователя творчества Эса де Кейроша арестовывали так часто, что у него всегда стоял наготове чемоданчик, а в нём — пижама и зубная щётка. Начались повальные обыски, изъятия книг, допросы. Стены особнячка, где жил великий социолог, имя которого знали ученые всего мира, были исписаны грязными ругательствами — брань адресовалась тому, кто для многих являлся наиболее совершенным воплощением бразильской культуры. Он да ещё гениальный физик Персио Менезес — оба были гордостью отечественной науки.

Эвандро Нунес дос Сантос, прочитав лекцию на юридическом факультете, был приглашен к социологу на обед, там он и узнал во всех подробностях о происшествиях в Пернамбуко. Эвандро вознегодовал на ругательства, получил напечатанную на мимеографе копию протеста, где встретил имя Сампайо Перейры, кандидата в Бразильскую Академию. Вернувшись в Рио, он немед­ленно размножил протест и в четверг, когда «бессмертные» пьют чай и заседают, роздал его коллегам.

### МАРКИТАНТКА

Мария-Жоан накладывает грим перед тем, как начать одеваться для выхода на сцену.

— Я была настоящей ведьмой, дьяволицей во плоти...

— Была?.. — Нежно-лукавая усмешка скользит по губам местре Портелы.

— Однажды, помню, я совершенно извела его, заставила ревновать... На что-то намекала, кого-то вспоминала... Сыпала именами и наконец добилась своего. Он влепил мне пощёчину...

— Чтобы Антонио Бруно поднял руку на женщину, надо было постараться всерьёз.

— Я, пожалуй, перестаралась. Он стукнул меня, когда я сказала, что он прирожденный рогоносец. Тогда я стала оскорблять его: козёл, рогач и так далее. Бедняжке Антонио было стыдно за то, что он меня ударил, и потому он изо всех сил сдерживался. Но когда я закричала по-французски: «Cocu! Roi des cocus!»[[17]](#footnote-17), Бруно кинулся на меня и начал колотить. Мы повалились на пол, и под градом ударов я притянула Бруно к себе. Не по­мню точно тот миг, когда удары сменились ласками. Это была удивительная ночь. Восход солнца застал нас за клятвами в вечной любви. Наутро я была вся в синяках — от побоев и поцелуев моего поэта.

Актриса встает. Распахнутый халат не скрывает её прекрасную упругую грудь — Мария-Жоан бюстгальтеров не признаёт. Она начинает надевать на себя костюм Гедды Габлер. Премьера пьесы Ибсена, переведённой Родриго Фигейредо, состоялась две недели назад.

— Да, местре Афранио, для Бруно я отдалась бы самому дьяволу! Или Вонючке Баррето, что гораздо хуже.

Старый Стенио Баррето — богатейший коммерсант, — по прозвищу Вонючка, коллекционировал актрис, ценя их в буквальном смысле на вес золота. Несколько португалок и бразильянок сумели сколотить себе состояние, но Мария-Жоан отказывалась от всех предложений — то ли из духа противоречия, то ли дожидаясь момента, когда посулы дойдут до немыслимых степеней. В настоящее время Баррето предлагает ей за «уик-энд» в Петрополисе пятикомнатную квартиру на Копакабане.

Местре Афранио протягивает актрисе список академиков:

— Те, что помечены крестиком, — это, безусловно, наши. Буквой «н» обозначены такие же убежденные противники. А колеблющиеся ещё никак не отмечены. Ну-ка, взгляни, скольких из них большими обещаниями и маленькими потачками сможешь ты склонить на сторону генерала Морейры?

Полуголая Гедда Габлер — окинув её тело взглядом знатока, Портела приходит к выводу, что пятикомнатная квартира на Копакабане — это вовсе недорого, — изучает список.

— Вот эти двое... Нет, трое. Жалко, что и Родриго за генерала. Я бы не прочь снова упасть в его объятия. Наш первый роман был так непродолжителен...

— Разумеется, Родриго — наш. Наш до такой степе­ни, что посвящает всё своё время полоумной дочке Морейры и не даёт ей потрудиться на благо отца. Ты ведь знаешь этих дворян, Мария, — все они такие ужасные эгоисты... Так кто же эти трое?

В дверь уборной стучат — «через пять минут, сеньора Мария-Жоан, ваш выход». Актриса уже одета, и трагическим жестом Гедды Габлер она указывает фамилии в списке.

— Этот, этот, этот... Пайва значится среди противников, но если я его попрошу... Вам не нужен его голос?

— Ещё как нужен, но я, хоть и знаю, что против тебя устоять нет возможности, всё-таки не верю в успех.

— Пари хочешь? — Она в задумчивости кусает ноготок. — Старичок меня обожает, он делается совершенно ручным и ни в чем не сможет отказать мне.

— Ты и вправду дьяволица!

— Это будет удивительно забавно! Умрёшь со смеху!

Великая артистка смеется как девчонка — ну разве дашь ей сорок лет? — и величественной поступью Гедды Габлер выходит из уборной. Нет тонизирующего лучше, чем любовь, думает местре Афранио, глядя ей вслед, любовь сохраняет фигуру, а главное — сообщает жизни радость.

### ВЕЛИКАЯ АКТРИСА

Выборы королевы карнавала происходили в театре «Сан-Жозе». Кроме поэта Антонио Бруно, в жюри входили: президент карнавального общества «Наместники чёрта» импресарио Сегрето, журналист, специализировавшийся на празднествах Момуса, на карнавальных группах и клубах — он подписывался инициалами Ж. Ф. Г. — и крупнейшая бразильская актриса того времени Италия Фауста, находившаяся в зените славы.

В зените славы был и тридцатичетырёхлетний Анто­нио Бруно. Успех его упрочился после выхода в свет трех новых книг: сборников стихов «Сонеты» и «Баркарола Антонио» и прозаических очерков, ранее опубликованных в журналах, а ныне собранных в одном томе под названием «Довольно чистая правда». Большинство критиков с воодушевлением превозносили поэта — «выдающееся дарование... новая звезда на небосводе бразильской поэзии... автор непревзойдённых сонетов... поэт-лирик, радикально изменивший само понятие лирической поэзии... человек, чей своеобразный и вольный талант заново открыл нам птиц и деревья, женщину и любовь... поэт, который обладает даром преображать повседневность в поэзию», и прочая и прочая. Не было недостатка и в отзывах совершенно противоположного свойства: «слащавые перепевы одной и той же темы», «пренебрежение к новым путям развития поэзии», «слезливый провинциализм» — так определяли его творчество недобро­желатели и завистники, оскорбленные до глубины души невиданным успехом Бруно. Книги его не только расхваливались, но и мгновенно раскупались. Их любили, их читали, и — самое обидное! — их переиздавали. Его стихи звучали и со сцен театров на благотворительных концертах, и на литературных студенческих вечерах, и на скромных семейных праздниках.

Жалованья мелкого чиновника министерства юстиции на житье не хватало, и Бруно подрабатывал где и как только мог: читал лекции в клубах и кружках, писал статьи в газеты и журналы, сочинял скетчи для эстрады и даже тексты песен. Эккел Таварес, никому в ту пору не известный двадцатилетний композитор, положил на музыку его стихотворение — так появилась на свет знаменитая «Пичужка», которой была суждена столь долгая жизнь. Леополдо Фроэс сообщил, что собирается поставить пьесу Бруно — комедию из жизни обитателей нашей столицы, — как только тот её напишет. Успех у читателей соперничал с успехом у женщин — «романтический профиль бедуина» мелькал на фотографиях, картинах, рисунках и шаржах: разглядывая портрет Бруно на страницах журнала «Фонфон» (отсутствующий взгляд, подпертая ладонью щека, прическа а-ля Масканьи[[18]](#footnote-18)), вздыхали девицы и верные супруги, школьницы и дамы бальзаковского возраста. Шел 1921 год. Первая мировая война осталась в прошлом, Бразилия готовилась торжественно отпраздновать столетие независимости.

Нет на свете титула желаннее, чем титул королевы карнавала. Кроме жестяной позолоченной короны, бархатной мантии и кольца с аквамарином (дар ювелирной фирмы «Оувидор»), королева могла рассчитывать на страшный ажиотаж в печати — интервью, репортажи, фотографии — и на лютую ненависть побежденных соперниц. А в соперницах недостатка не было, и борьбу за королевскую корону можно сравнить лишь с выборами в Бразильскую Академию. Победу оспаривали актрисы драматических театров, звезды и фигурантки ревю, никому не известные, но рьяные любительницы, желавшие использовать титул для того, чтобы вступить на ослепительное, хотя и плохо оплачиваемое поприще театрального искусства. Не беда, что в театре мало платят: слава и популярность с лихвой компенсируют бедность, а для возмещения скудного жалованья есть на свете Стенио Баррето и другие Вонючки — блудливые старики миллионеры...

Импресарио Сегрето не пожалел усилий — трое из четверых членов жюри решили отдать пальму первенства весёлой и лукавой Маргарите Вилар, обладательнице безупречно стройных ног, рыжей гривы и чарующего голоса. Она исполняла главную роль в ревю «Мисс, Матчиш и Ватапа», выдержавшем больше сотни представлений. Однако на параде конкурентов Бруно внезапно увидел одну из тех неистовых и никому не известных любительниц, о которых мы упоминали выше, и сердце поэта дрогнуло. Такого с ним ещё не было: такая мгновенная, сумасшедшая, жестокая страсть ещё никогда не охватывала его. Где он мог видеть эту высокую, гибкую девушку с ослепительно белой кожей и золотыми кудрями? Только на картине, но на чьей именно и в каком музее? Какой неведомый мастер Возрождения много веков назад предугадал и воссоздал на полотне её черты? Зов и призыв исходили от ее темных как ночь глаз, от чувственных губ, от дерзкого колебания бёдер и ничем не стеснённых грудей. У Бруно пересохло во рту и похолодело под ложечкой. Перед ним во плоти предстала самая настоящая роковая женщина.

Отказ поэта голосовать за Маргариту Вилар мог бы серьезно осложнить ситуацию, но члены жюри все были люди светские и добрые друзья: порешили единогласно присудить титул королевы Маргарите, а для ее безвестной соперницы учредить специальное звание «Принцесса Карнавала»,

Бруно не был с ней знаком, если он и видел её раньше, то только на картине или во сне. Он не знал, как её зовут, сколько ей лет, чем она занимается, — он ничего про неё не знал. Принцесса назвалась Лючией Бертини — соотечественницей и дальней родственницей великой Франчески Бертини — она родом из одной деревни со знаменитой кинозвездой; ей двадцать один год (претендентки моложе этого возраста ни к конкурсу, ни к участию в коронации не допускались); у нее есть некоторый театральный опыт: живя в городе Кампосе, она играла в любительском театре «Феникс». На конкурс она явилась в сопровождении двоюродного брата, мрачного субъекта, сидевшего в последнем ряду.

Интерес, проявленный Бруно, и титул, который по поручению жюри он ей преподнёс, привели её в состояние, близкое к умопомешательству. Она немедленно узнала поднявшегося на сцену поэта по фотографиям и карикатурам — на одной из них поэт выводит затейливыми буквами название своей книги. Как это? Барка?.. Какая барка? А-а, «Баркарола Антонио»! Вот-вот! Какое забавное слово, что оно означает?

Когда все волнения были позади, а тяжкие труды жюри благополучно завершились, когда были оглашены и встречены аплодисментами имена победительниц, Бруно захотел проводить принцессу до дому, надеясь той же ночью утолить снедавшее его желание, но ее высочество, исполненная целомудренного достоинства, отказалась от его предложения. Ей надлежало вернуться домой вместе с кузеном.

— У моего отца — невозможный характер. Он разрешает мне выходить из дому только вместе с братом и даже не знает, что я принимала участие в конкурсе. Если же, не дай бог, он об этом проведает, то вполне может отколотить меня и посадить под замок.

Они условились встретиться на следующий день в кафе-мороженом на площади Кариока. Несколько бокалов шампанского (принцесса оказалась большой любительницей этого напитка), нежные слова, прошептанные на ушко, экспромт, родившийся у Бруно в предчувствии их знакомства, красота бедуина и слава поэта сделали свое дело: принцесса была покорена и сражена. Тут прояснились некоторые подробности ее биографии: она никогда не жила в Кампосе, ни разу в жизни не выходила на сцену, её не звали Лючия Бертини и она не была итальянкой — имя, фамилия и происхождение были украдены у соседей. Принцессу звали Мария-Жоан — так захотел её покойный отец-португалец. Ужасное имя, правда? Нет имени прелестней, я стану звать тебя Жоаночкой, хочешь ты этого или пег. Но принцесса уже потеряла собственную волю и хотела только того, чего хотел Бруно: ей и не снилось, что она познакомится с ним, что в темном зале кинотеатра «Ирис» он будет целовать её бесконечными — как в кино! — поцелуями и гладить ее груди под блузкой. Так начался этот безумный роман — яростное желание и ревность, бесконечная ложь, скандалы на людях и даже драки. Их связь продолжалась почти два года, и за все это время Бруно так и не удалось отличить правду от вымысла, узнать, когда его возлюбленная притворяется, а когда искренна.

Кузен был никакой не кузен, а просто приказчик в лавке, которая по наследству от отца перешла во владение его брату. Мария-Жоан, её мать и младший брат жили бедно: дядя делил доходы, сообразуясь с собственными правилами арифметики. Возраст принцессы постепенно уменьшался, пока наконец она не призналась, что ей только-только исполнилось семнадцать. Лже-кузен был вторым мужчиной в её жизни — а первым стал кузен истинный, пятнадцатилетний мальчишка. Когда это случилось, он хотел даже жениться на ней, можешь себе представить? Мария-Жоан повествовала обо всём этом без тени смущения и во всех подробностях и к тому же не замолкала ни на минутку. Когда истощался запас действительных происшествий, она прибегала к помощи воображения.

Первый скандал разразился на балу в честь новой королевы карнавала, в клубе «Наместники чёрта». После того как Мария-Жоан была провозглашена принцессой и осыпана дарами (корона меньше, чем у королевы, мантия из атласа, а не из тяжелого благородного бархата, вместо перстня с аквамарином — маленькое колечко с бирюзой — всё из той же ювелирной лавки «Оувидор»), она об руку с Антонио Бруно пересекла зал, и в её честь раздались рукоплескания не менее бурные, чем в честь королевы. Бруно чувствовал, как трепещет грудь его спутницы — Мария-Жоан была рождена для аплодисментов, для того, чтобы выставлять себя напоказ.

— Я тоже приготовил тебе подарок, о моя царица Савская, но вручу его тебе не сейчас и не здесь.

К толстой цепочке был прикреплен медальон в форме сердца — старинная португальская безделушка из чистого золота, которую Бруно откопал в лавке почтенного — «мы никогда не обманываем клиента» — и бессовестного антиквара: для покупки пришлось занять денег у Афранио Портелы.

Поэт открыл коробочку и показал принцессе подарок. Несмотря на то что Мария-Жоан ещё плохо разбиралась в драгоценностях, она обладала врожденным вкусом и поняла, что перед ней подлинное произведение искусства, которое стоит, наверное, кучу денег.

— Это мне? Не может быть!

Она хотела немедленно примерить медальон, но Бруно не дал:

— Не сейчас. Дома. Когда будешь раздета. Я сам хочу надеть тебе на грудь мой свадебный подарок.

— Но ведь дома никто его не увидит...

— А меня ты не считаешь? В первый раз ты наденешь его для меня одного. Потом надевай куда хочешь.

В сладком предвкушении она улыбнулась, прикусила губу, закрыла глаза, и они пошли танцевать один танец за другим.

— Я хочу носить там твой портрет.

Антонио Бруно, в парижских кабаре овладевший всеми тонкостями этого искусства, нашёл в своей партнёрше способную ученицу: она легко выполняла самые невероятные па. Принцесса с яростным презрением перехватывала взгляды, которые бросали на её кавалера присутствующие дамы — самые бесстыдные осмеливались даже улыбаться ему.

Наконец музыканты пошли передохнуть и выпить холодного пива, а принцесса отправилась в дамскую комнату. Когда она вернулась, танцы опять были в разгаре, а Бруно, обняв блистательную королеву Маргариту, вертелся с нею в фокстроте. Тут уж ярость возобладала над презрением, почтительная принцесса вмиг стала ведьмой и ринулась на королеву. Прежде чем её величество успела сообразить, что происходит, с неё слетела корона, а бархатная мантия оказалась на полу, Мария-Жоан бросилась на звезду бразильского лёгкого жанра и вцепи­лась ей в прическу — Маргарита Вилар всегда гордилась своими рыжими локонами, под светом софитов отливавшими медью. На этом балу они были особенно хороши.

— Не смей к нему лезть, старая кляча! Он мой, и больше ничей!

Бал прекратился. Для того чтобы оторвать принцессу от королевы и выволочь её из зала, Бруно пришлось применить силу. Мария-Жоан сопротивлялась как могла и до крови прокусила ему руку. При этом она кричала:

— Отпусти меня! Я знать тебя не желаю! Отправляй­ся к своей потаскухе, дари ей свои медальоны, а я иду домой!

Тем не менее пошла она к Бруно и оказалась в его постели, хранившей память о многих безрассудствах, о страсти и упоении. Тяжелая цепочка обвилась вокруг шеи принцессы, филигранное сердечко разделило ее груди... Прозрачная опаловая кожа, живот, словно ворох пшеницы. Мария-Жоан сама была точно отлита из золота.

До самого рассвета не выпускали друг друга из объятий изголодавшиеся любовники. Когда же наступило утро, Мария-Жоан сказала:

— Прости меня, милый: такой уж я уродилась на свет... Что моё, то моё, и делиться я не собираюсь ни с кем. Теперь можешь меня прогнать, — при этих словах она улыбнулась и сладко потянулась, — да только я всё равно никуда не уйду.

Бруно умел опьяняться страстью и умел внушать страсть, но более опустошающего и бурного романа не было в его жизни. Их связь продолжалась почти два года, и порой Антонио казалось, что он сходит с ума. Мария-Жоан была единственной женщиной, которую он бил — причем с неподдельной злобой. Ревность главенствовала в этом романе, ревность отравляла безмятежность любви. Ревность, которую ослепленная Мария-Жоан могла выказать где угодно и когда угодно. Ревность, которую она пыталась вызвать у Бруно, чтобы убедиться в его любви. Ссоры повторялись так часто, что почти приелись, сцены ревности неизменно завершались неистовой любовной схваткой.

Мария-Жоан не могла видеть, как Бруно разговаривает с другой женщиной или улыбается ей: она немедленно устраивала ему сцену — и какую! В то же время она словно невзначай упоминала имена каких-то мужчин, намекала на чьи-то предложения, прятала чистые клочки бумаги — пусть Бруно думает, что это компрометирующие письма, любовная записочка, назначающая свидание. И сколько ещё раз суждено было повториться сцене на балу!

Постепенно ревность вытеснила страсть в душе Бруно. Две женщины непостижимо уживались в теле его подруги: одну, нежную и кроткую, как голубица, звали Мария-Жоан, другой — неукротимой, бешеной дьяволице — он дал имя Мери-Джон. Обе в постели не знали себе равных.

«Мери-Джон» — так называлась пьеса в стихах, которую Бруно наконец написал и отдал режиссеру Леополдо Фроэсу с условием, что заглавную роль будет играть Мария-Жоан. До этого она под именем Лючии Бертини принимала участие в нескольких ревю, пела и танцевала. Благородная Маргарита Вилар зла на неё не держала: она потеснилась, и вскоре они стали подругами. Однако, хотя Мария-Жоан была в избытке наделена и красотой, и изяществом, и шармом, чего-то для этого рода искусства ей не хватало. Однажды, когда она уже была готова отчаяться, Бруно осенило:

— Ты же прирожденная комедиантка! Я сочиню для тебя пьесу и назову ее «Мери-Джон».

Но Бруно родился не драматургом, а поэтом. Его пьесу спасали только стихи и редкий талант исполнительницы главной роли — роли очаровательной бразильской девушки, слегка спятившей на американском кино, слепо подражавшей манерам и позам голливудских кинозвёзд. Никогда больше не писал Антонио Бруно для драматического театра, никогда больше Лючия Бертини не выходила в ревю на площади Тирадентеса. На небосводе бразильского театра зажглась новая звезда, родилась великая актриса, вторая Италия Фауста.

Бруно и Мария-Жоан остались друзьями. Дважды возобновлялись их прежние отношения, но оба раза ненадолго.

### ПОЛКОВНИК ИЗМУЧЕН

Первый этап этой унизительной, тяжкой, мучительной избирательной кампании близился к концу: прошли два месяца, в течение которых можно было подать заявление о намерении баллотироваться в Бразильскую Академию. Битва при Малом Трианоне разгоралась всё жарче, однако никто не мог предугадать, чем она кончится.

Полковник Перейра, привыкший только отдавать приказы и проверять исполнение, пришел в ярость, обнаружив, что его намерение стать «бессмертным» встречает открытое или тайное противодействие. Вместо обещанного Лизандро Лейте триумфального шествия выборы всё больше напоминали скачку с препятствиями. Изматывающую скачку.

Всходя на голгофу неизбежных предвыборных визитов, полковник, обязанный держаться почтительно и льстиво, десять раз подряд должен был выслушать одну и ту же оскорбительную песню:

— Я очень сожалею, полковник, но уже обещал голосовать за другого кандидата. Кстати, какое совпадение: он ваш собрат по оружию, ещё один выдающийся представитель нашей армии — генерал Валдомиро Морейра.

Менялись слова, неизменным оставался смысл: негодяй Морейра успел опередить полковника. Выяснилось, впрочем, что два академика солгали: генерал у них ещё не был. Это ли не доказательство того, что существует оппозиция полковнику Перейре и силам, которые он представляет? Пощёчина была нанесена десять раз — заслуживает внимания и сама цифра, и то, что за нею кроется: враги отчизны протянули свои щупальца и к Бразильской Академии.

Это почтенное учреждение объединяет в своих стенах людей, известных не только в области литературы, но и во всех прочих сферах бразильской жизни: от юриспруденции до политики, от церкви до армии, от дипломатии до медицины, от естествознания до журналистики, а потому полковник Перейра, будучи немного консерватором, не мог себе представить, что Академия испытывает такое могучее воздействие со стороны разобщённых и находящихся в упадке сил, противостоящих победоносным, славным и животворным идеям, которые воплотили в себе фюрер и дуче. Оказывается, и Бразильская Академия заражена гнилым духом либерализма, и в эту святыню просочились — а просочившись, угнездились — коммунисты. Полковника обвиняют в создании «пятой колонны». Хорошо же: как только его изберут, он немед­ленно примет необходимые меры — в жилы больной Академии будет перелита чистая и здоровая кровь. Отныне «бессмертных» будут отбирать с особой тщательностью.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что пятнадцать академиков пообещали отдать свои голоса за полковника, а двое или трое из этих пятнадцати принялись активно помогать Лизандро Лейте. Два академика, находившиеся вне Рио (один безвыездно жил в Минас-Жерайс, другой состоял послом в Мексике), прислали ему письма, к которым на выборах он должен будет присовокупить запечатанные конверты с их голосами. Четы­ре счетчика вскроют эти конверты в момент подсчета голосов. С величайшим наслаждением полковник лично напечатал на листках свое имя и воинское звание. Не зря, не зря сносил он обиды.

Итак, двадцать пять голосов определились: пятна­дцать «за», десять «против». Остается четырнадцать сомневающихся. Нет, не четырнадцать, а тринадцать: среди них был Афранио Портела — враг номер один, — тот, кто выдвинул кандидатуру генерала. Прослушивание его телефонных разговоров выявило, что Портела ведет ак­тивнейшую пропаганду среди «бессмертных», призывая «не допустить гестаповца в Малый Трианон», — так прямо, гад, и говорит. Вместе с Лизандро полковник до одури вчитывался в эти тринадцать фамилий, пытался угадать, кому академики отдадут свои голоса. По просвещенному мнению Лейте, все они без исключения проголосуют «за тебя, милый Агналдо». Но «милый Агналдо» перестал слепо доверять просвещенному мнению и прогнозам «любезного Лизандро»: он был так обескуражен, что поместил в список «сомнительных» даже старика Франселино Алмейду, несмотря на посланные тому фрукты и шампанское (французское).

Полковнику оставалось нанести три визита. Тридцать шесть академиков он уже посетил, и нельзя сказать, что это всегда было ему легко и приятно. Для того чтобы за­воевать голос Марио Буэно, создателя «Книги псалмов», пришлось ехать в Сан-Пауло, а за поддержкой бывшего директора Бразильского банка, отставного профессора, автора тоненьких сборничков рассказов, полупарализованного старика, отправляться в Бело-Оризонте. Полковник привез его письмо в кармане кителя. Визит к поэту был очень краток: Марио Буэно, неизменно и утонченно вежливый со всеми кандидатами, заверил полковника, что ни в коем случае не воздержится от голосования, но сообщит о своем выборе в Академию в установленном порядке. Узнать, кому же он отдаст свой голос, не удалось. На всякий случай полковник, как ни разубеждал его Лизандро, причислил поэта к «сомнительным». С послом Бразилии в Мехико, Ренато Мюллером Виейрой, состоялся продолжительный и душевный разговор по телефону («борьба с коммунизмом» оплачивала эти маленькие траты: переписку, разъезды, гостиницы и по-королевски щедрый свадебный подарок дочери одного из «сомнительных»). Полковник получил от посла любезнейший ответ и письмо в Академию — то и другое было прислано с дипломатической почтой. Ренато Мюллер Виейра, поэт и романист — полковник не был с ним знаком лично и не удосужился прочесть ни одного из его заумных творений, — идол высоколобых литературоведов, провозгласил себя безусловным сторонником и горячим поклонником Сампайо Перейры: «Непреходящая ценность Ваших книг и Ваша деятельность на благо отчизны вдохновят молодежь Бразилии, которой суждено воплотить в жизнь мечту Шопенгауэра о новом мире». Эта горячая поддержка отчасти смягчила неприятное чувство, вызванное явным отвращением, с каким принимали полковника иные подлецы академики, симпатизирующие Москве.

Два визита были особенно неприятны и лишены даже тени любезности. Грубый старик, Эвандро Нунес дос Сантос, не пожелав впустить полковника в дом, назначил ему встречу в конторе книгоиздательства Жозе Олимпио. Хмурясь, он молча выслушал кандидата в Академию, сообщил ему, что намерен поддерживать генерала Морейру, и протянул на прощанье кончики пальцев. А у драматурга Фигейредо Жуниора хватило наглости осведомиться о причинах, побуждающих полковника баллотироваться в члены Бразильской Академии. Зная его политические убеждения и функции возглавляемой им организации, он, Фигейредо, решительно не понимает, что могло понадобиться полковнику в Бразильской Академии. От этого единственного прямого намека на то, что будущий «бессмертный» — фашист и шеф службы безопасности, от этого притворного недоумения Фигейредо у полковника осталось ощущение, словно он проглотил омерзительную жабу.

Ему нужно было посетить ещё троих: президента Академии Кармо, умирающего гения Персио Менезеса и романиста Афранио Портелу.

Полковник Перейра ни за что на свете не пошел бы с визитом к мерзкому либералу, который откопал где-то генерала-соперника, если бы не настояния Лейте: «Нельзя, академики чрезвычайно щепетильны, они сочтут твой отказ посетить Портелу недопустимым нарушением устава, которое задевает их всех. Милый Агналдо, твоё избрание предрешено, но не стоит отпугивать возможных сторонников: у нас каждый голос на счету! А кроме того, Портела, великосветский бездельник, социальный трутень, будет, не в пример Эвандро и Фигейредо, вежлив и даже любезен...»

В церкви Канделарии во время мессы седьмого дня полковник встретился с Эрмано де Кармо, который так и не назначил день визита. Президент был необыкновенно предупредителен, но Перейра по-прежнему казалось, что он чего-то не договаривает. «Должность такая, — объяснял полковнику Лизандро, — президент обязан свято блюсти устав Академии, в соответствии с которым ему до выборов нельзя поддерживать того или иного кандидата. Не смотри, что он так сдержан и молчалив, — президент в очень любопытной форме всегда дает понять, кому бу­дет отдан его голос. Всех претендентов он приглашает на утро и угощает чашечкой кофе, а того, за кого проголосует, зовёт на ужин».

Персио Менезес, ученый с мировым именем, ученик Мари и Пьера Кюри, сотрудник Эйнштейна по Принстону, профессор астрономии и теоретической механики, член Института Радия, почетный доктор Сорбонны, в свободное время пишущий сюрреалистические стихи, тоже ещё не назначил даты визита. «Это зависит от того, как он себя чувствует», — не растерялся Лизандро. Менезес, неизлечимо больной раком, живёт только на болеутоляющих; дозы морфия всё увеличиваются. Он уже не­сколько месяцев не появлялся в Академии и принимает только самых близких друзей. Почему же тогда он при­нял генерала? «Потому, — растолковывал полковнику Лизандро, — что Морейра выше чином и первым попросил принять его, а знаменитый ученый очень щепетилен в во­просах этикета. Он примет тебя, милый Агналдо, как только ему полегчает, это его собственные слова: вчера я наконец дозвонился к нему, прося назначить день и час. Еще он прибавил одну фразу, которая ясно указывает, что Персио уже сделал выбор: „Я во что бы то ни стало приму полковника“.

Полковник Перейра не сомневался в победе, но чувствовал себя так, словно его вывернули наизнанку. Под­вохи, ловушки, обманы, двусмысленности, разочарования, неудачи безмерно утомили его. Если бы он не жаждал так страстно — а теперь, когда выборы превратились в настоящее сражение, эта страсть стала еще сильней — звания академика, шитого золотом мундира, бессмертия, то сдался бы. Плюнул на это дело. Полковник потерял душевное равновесие, полковник смертельно устал, нервы полковника натянуты как струны.

...Арестованным и задержанным солоно приходилось в эти дни. Полковник Перейра отыгрывался на них за гнусное поведение тех академиков, что предпочли ему это ничтожество, за их иронию, насмешки, ледяной тон и едва скрываемое отвращение. Он вымещал на арестованных и задержанных свою ненависть к тем, кто лицемерно поздравлял его с очевидной победой, а сам затаивался и выжидал, заставляя полковника мучиться неизвестностью, теряться в догадках, шалеть от нескончаемого пустопорожнего красноречия... Полковник стучит кулаком по столу, кричит, бранится, угрожает, отдает беспощадные приказы своим подручным — небо с овчинку кажется в эти дни арестованным и задержанным.

### СУПРУГИ ЛЕЙТЕ (И ИХ ДОЧЬ)

— Чем ты так озабочен, Лизандро? Что с тобой? — В мягком, ласкающем слух голосе доны Мариусии слышится нежное недоумение.

Познакомившись с супругой академика Лейте, многие удивленно задают себе вопрос: как? неужели эта стройная, всё ещё привлекательная женщина, всегда весёлая и приветливая, красиво причесанная и в меру подкрашенная — жена толстого, потного, небрежно одетого, суетливого и преувеличенно любезного, пронырливого и расчетливого Лизандро? Да, жена. Жена и мать его пятерых детей; четверо сыновей — два адвоката, инженер и врач — давно обзавелись семьями, а пятая, студентка юридического факультета Пру (уменьшительное от нена­вистного ей имени Пруденсия), красотой пошедшая в мать, а живым умом и энергией — в отца, пока ещё живет в отчем доме. У доны Мариусии семеро внуков, но, глядя на эту величаво-кроткую красавицу, никогда не скажешь, что ей скоро пятьдесят.

С мужем она ладит. Она всегда согласна с ним, даже если порой в разговорах с Пру и осуждает его взгляды или поступки. Мариусия и Лизандро рука об руку прошли долгий путь, и, ох, как нелегок был он вначале. Лизандро не щадил себя, чтобы его дети и жена не были лишены по крайней мере самого необходимого. Образцовый супруг и любящий отец работал как вол, отважно и дерзко брался за любое дело, был неразборчив в средствах и не страдал излишней щепетильностью — лишь бы дом его был полной чашей, лишь бы дети встали на ноги. Что ж, он добился своего — сыновья, слава богу (хотя бог тут ни при чем — славить следовало бы усердие и упорство Лизандро), устроились в жизни неплохо. Пру пока еще только на четвертом курсе и зависит от родителей, хотя зависимость эта проявляется лишь в том, что ее кормят, обувают и одевают — ни малейшего вмешательства в свои дела своенравная и самостоятельная девушка не терпит. Ей бы очень хотелось жить отдельно, быть хозяйкой самой себе, да пока не выходит. Она уже работает в адвокатской конторе — денег не получает, зато набирается опыта и выполняет свой гражданский долг: владелец конторы специализируется на защите политических преступников перед Особым трибуналом.

...Лизандро уселся рядом с женой:

— Да все эти проклятые выборы... Я думал, протащить Агналдо в Академию будет нетрудно. И ошибся.

Он испытывал к жене неубывающее чувство благодарности, начавшееся ещё в далекую пору ухаживанья. Лизандро и в юности был одышлив и тучен, длинноволос и плохо выбрит, не любил спорт и не умел танцевать; девушки обращали на него мало внимания... До сих пор он не понимает, почему Мариусия на выпускном вечере согласилась стать его женой. Он долго не мог поверить в искренность её чувств, хотя о браке по расчету и речи быть не могло: Лизандро был ещё бедней, чем она — школьная учительница, — и, пока не получил стипендии, подрабатывал в магазине готового платья — умудрялся выколотить деньги за отпущенные в кредит товары из самых безнадежных должников. Всю жизнь он чувство­вал себя обязанным жене.

— Многие возражают против его кандидатуры?

Дона Мариусия обычно не интересовалась борьбой вокруг вакансий в Академию, — борьбой, которой её муж отдавал столько времени и сил. Как подобает супруге академика Лейте, она принимала у себя кандидатов, наносивших положенные визиты, появлялась в Малом Трианоне на торжественных заседаниях и традиционных рождественских чаепитиях, где и виделась с жёнами «бессмертных», но круг её приятельниц состоял главным образом из жён сослуживцев Лизандро и родственниц.

— Да есть кое-кто... Больше, чем я предполагал. И такие, что ухо с ними держи востро. Помнишь этого денди Афранио Портелу?

— Помню. Я читала его романы — «Аделия» мне понравилась... Очень милый человек.

— Милый? Макиавелли перед ним — щенок. Знаешь, до чего он додумался?

— Нет, не знаю. Расскажи. — Она ласково взяла его влажную от пота руку.

— Мало того что они выкопали откуда-то генерала, который стал соперником Агналдо, так еще подрядили Марию-Жоан отбивать у нас голоса академиков.

— Правда? Ну и как?

— А так, что наш милый министр Пайва, в котором я не сомневался ни минуты, теперь пошел на попятный. Это что-то неслыханное! Это вопиющее неуважение к Академии!

Дона Мариусия засмеялась:

— Я уверена, что ты тоже не сидишь сложа руки. Неужели твой кандидат может потерпеть поражение?

— Нет. Он победит.

— Чем же в таком случае ты встревожен?

— Я хотел, чтобы это была чистая победа, единогласное избрание. Так и случилось бы, не появись в последний момент этот чёртов Афранио со своим генералом. Они нам испортят всю обедню.

— Каждый раз одно и то же. Настоящая война...

— Думаю, Мариусия, что нет у нас в стране ничего более вожделенного, чем мундир академика. Академия — это вершина, Олимп, с ней ничто не сравнится. Нас, «бессмертных», избранников богов, всего сорок.

— И один из них ты, Лизандро. Я очень гордилась твоим избранием. А скажи, пожалуйста, это было трудно? Я не помню.

— Момент был очень подходящий: компромисс между враждующими группировками. И то пришлось побегать. Пайва тогда оказал мне большую услугу...

Лейте помолчал, воскрешая в памяти сражение деся­тилетней давности: из трех претендентов у него были наименьшие шансы на успех, никто не верил, что он пройдёт в академики... Ох, сколько крови испортила ему, Бразильская Академия, сколько было пролито пота, чтобы попасть туда!.. Но пальмовые ветви золотого шитья залечат любые раны, компенсируют любые тяготы... Лизандро нежно взглянул на жену:

— Ты жена члена Бразильской Академии!

— Мне многие откровенно завидуют. «Ваш муж академик? Как это замечательно...» Мне есть чем похвастаться.

— Ты бы посмотрела, как Агналдо — полковник Перейра, имя которого наводит на всех ужас, один из первых людей в государстве, — ящиками шлёт французское шам­панское старику Франселино, давным-давно уволенному в отставку послу...

— А почему ты помогаешь этому полковнику, Лизандро? Я читала про него такие ужасные вещи — просто мороз по коже... Пру дала мне прочесть: она приносит эти бумаги из своей конторы.

— Пру якшается с коммунистами, я уже говорил тебе! Когда-нибудь это обнаружится. Страшно подумать: моя дочь — в тюрьме! Вот расплата за все грехи. — Про­тест интеллигентов из Пернамбуко, экземпляр которого он обнаружил в ящике своего стола в Академии, появился и дома — на конторке, заваленной папками с делами. Его положила туда Пру, чтобы пристыдить отца. Она же принесла домой поэму Антонио Бруно, написав на полях: «Нацист не имеет права наследовать певцу свободы». Дерзкая девчонка осуждает отца... А кто будет хлопо­тать за неё, если в один прекрасный день... А если полковник не поверит в его непричастность — что тогда?

— Не вмешивайся в дела Пру — я ведь в твои не вмешиваюсь. Объясни мне лучше, почему ты так огорчаешься из-за этого полковника, почему ты ему покровительствуешь, раз он тебе даже не приятель?

— Потому что у него власть, Мариусия. Над ним только два человека — военный министр и Сам. Агналдо отбирает и назначает людей. Я многим, очень многим тебе обязан, дорогая моя Мариусия. Ты жена академика. Теперь я хочу, чтобы ты стала женой председателя Верховного федерального суда.

Дона Мариусия, высокая, изящная, ещё очень красивая женщина, склонила голову на плечо мужа.

— Теперь я всё поняла: ты стараешься для меня, — и подставила ему губы для поцелуя.

### ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

— У меня отличные новости, дорогой Лизандро.

— Я весь внимание, милый Агналдо.

— Мне только что позвонили от президента. Визит назначен на завтра.

— Вот как? Это превосходно!

— Он пригласил нас с женой на ужин. Просил, чтобы я не очень распространялся об этом.

— А что я говорил! Приглашение к президенту на ужин — это гарантия того, что он будет голосовать за тебя.

— Судя по всему, так оно и есть. Я поспешил сообщить тебе.

— Тронут. Ты помнишь, какой завтра день?

— Завтра? Погоди... Четверг.

— Не в том дело, что четверг! Завтра истекает срок подачи заявлений. С пятницы уже никто не будет иметь права баллотироваться в Бразильскую Академию.

— А генерала Морейру-Мажино президент уже принял?

— Нет, генерал Валдомиро Морейра ещё не был у него — мне это точно известно. — Лизандро даже в раз­говоре со своим сподвижником не осмеливается опустить высокий чин соперника, а уж повторить вслед за полковником презрительное прозвище — боже сохрани. — Я в полном курсе всех его шагов. Генералу придется удовольствоваться чашечкой утреннего кофе.

— Я хотел бы завтра увидеться с тобой, рассказать про ужин у президента...

— Конечно, конечно! Назначь время. Я весь к вашим услугам, господин полковник. Я ведь твой ординарец, дорогой Агналдо.

— Ты верховный главнокомандующий, милый Лизандро.

«Быть мне председателем Федерального суда».

### ИНФОРМАЦИЯ

В четверг, спустя ровно два месяца со дня заседания, посвященного памяти Антонио Бруно, президент сообщил присутствующим академикам (и уведомил по почте отсутствующих), что срок подачи заявлений на место, освободившееся в связи с кончиной «нашего коллеги и друга Антонио Бруно», истёк. Баллотироваться в Акаде­мию с соблюдением всех формальностей и правил желают два писателя: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра; у обоих имеется необходимое количество напечатанных книг. Выборы состоятся через два месяца, в последний четверг января 1941 года, — по стечению обстоятельств, это будет последнее заседание Академии перед каникулами.

### УЖИН

Вечером того же дня президент Академии с супругой принимали в своём новом доме полковника Агналдо Сампайо Перейру и его жену дону Эрминию. Она выглядела старше своего мужа; была молчалива, односложно отвечала на любезные вопросы президентши, пытавшейся «разговорить» гостью. Однако в конце ужина она все же разверзла уста и отдала должное искусству повара. «Очень вкусно», — сообщила она.

Вначале ужин проходил мирно и даже оживлённо. Эрмано де Кармо рассказывал историю своей журналистской карьеры. Он начинал когда-то с самого низа: был курьером, носил корректуры из типографии в редакцию «Коммерческого вестника» — той самой газеты, редактором и владельцем которой он являлся ныне. До того как стать президентом Академии, Кармо возглавлял Бразильскую Ассоциацию журналистов.

Как ни старался президент избежать острых тем, разговор вскоре перешел на войну. Когда хозяйка восхитилась мужеством англичан, стойко переносящих варварские бомбежки нацистов, и упомянула Черчилля, полковник не выдержал. Между рыбой под маринадом и рост­бифом с овощами он успел сровнять Лондон с землей, занять Британские острова и посадить Черчилля в тюрьму.

За десертом беседа вновь вернулась в мирное русло: сдавленным голосом дона Эрминия похвалила рыбу, мясо и сладкое, к которому она питает особую склонность, хотя злоупотреблять им не может: и без того «видите, какая я толстая. Впрочем, моему Сампайо нравятся полные женщины». Полковник подтвердил: «Кости хороши только для собак».

Когда гости откланялись, президентша спросила мужа:

— Что же, его изберут?

— Изберут, к сожалению. Впрочем, к тому времени я уже сложу свои полномочия. Ну-ка отвечай, ты ведь специально завела речь о Черчилле? Ах ты, провокаторша! — полушутя упрекнул он свою седую надменную жену.

— А зачем же ты пригласил его ужинать, если не будешь голосовать за него?

— С чего ты взяла, что не буду?

Даже супруга президента узнавала о том, что выбор сделан лишь в ту минуту, когда президент называл ей имя очередного гостя, приглашенного на ужин.

— С чего я взяла? Очень просто: порядочный человек не будет голосовать за этого гитлеровского ублюдка. Видел, какая у него жена? Женщина, по мнению твоего полковника, — существо низшего порядка. Ее дело тол­стеть и ублажать своего повелителя.

— Проголосую я за Перейру или нет, он все равно будет избран, с перевесом в восемь-десять голосов. — Президент обнял жену за талию. — Да, кстати: во втор­ник к нам на ужин придет генерал Валдомиро Морейра с супругой...

— Как? Это что-то новое...

— Из кожи вон лезть не стоит: французские вина дороги, и достать их нелегко. Можно подать то же чилийское шабли, что и сегодня.

Улыбка осветила лицо президентши.

— Все попятно! Если ты приглашаешь к ужину и того, и другого кандидата, значит, голосовать ты не будешь ни за того, ни за другого.

— Какая ты у меня догадливая!

Взявшись за руки, они спустились в маленький сад, где, пропитывая ночной воздух одуряющим ароматом, цвёл жасмин.

### ЛЕКЦИИ, ЛЕКТОРЫ И МАРКИТАНТКИ

В 1940 году члены Бразильской Академии читали цикл лекций на тему: «Поэзия в борьбе за установление республики и отмену рабства». Публика состояла в основном из студенческой молодежи, а также из почитателей и друзей лекторов. Однако самым именитым удавалось заполнить зал до отказа и изменить состав аудитории за счет университетских профессоров, издателей, писателей, книготорговцев и светских дам.

С тех пор как генерал Валдомиро Морейра стал кандидатом в Бразильскую Академию, он аккуратно посещал все лекции, не пропуская ни одной. В сопровождении не знающего усталости Клодинора Сабенсы он неизменно усаживался в первом ряду, держа на виду блокнот и авторучку. Сабенса сумел преодолеть горькое недоумение, вызванное тем телефонным разговором, когда генерал послал подальше Академию словесности Рио-де-Жанейро. Он принял самое деятельное участие в предвыборной кампании автора «Языковых пролегоменов», сделавшись его бесплатным и очень исполнительным секретарем, а взамен получил возможность по-прежнему посещать гостеприимный дом супругов Морейра и продолжать корректное ухаживание за их дочерью. Раз уж речь зашла о прелестной Сесилии, упомянем, что она почтила своим присутствием лекцию о Луисе Гама и так бурно рукоплескала лектору — Родриго Инасио Фильо, — что ревнивые подозрения вкрались в душу Сабенсы. Впрочем, Сесилия вовсе не дала ему отставку, а просто перевела в запас первой очереди. Поклонниками Сесилия не бросалась и сейчас — даже после того, как в изысканной гарсоньерке Родриго приобщилась к бессмертию. Ей ли не знать, как непродолжительны милости судьбы?! Сесилия умела пробудить к себе интерес и влечение, но вскоре её банальности и капризы гасили первоначальный пыл возлюбленного, он разочаровывался и удирал, лю­бовь — утеха быстротечной жизни — чахла и гасла, а Сесилия, не в силах перенести одиночество, призывала из запаса своих резервистов, Впрочем, последний по счету — хирург-стоматолог — был уже потерян безвозвратно: он застукал её, когда она целовалась с Родриго в машине. Хирург оказался мещанином и ханжой. Заканчивая свой прощальный телефонный разговор и желая оскорбить Сесилию («не оскорбить, а всего лишь назвать вещи своими именами» — утверждал стоматолог), он обозвал её нехорошим словом.

Глядя, как генерал исписывает страничку за странич­кой в своём блокноте, как он рукоплещет какому-нибудь изысканному перлу красноречия, как срывается с места, чтобы первым поздравить лектора, поблагодарить за доставленное удовольствие, похвалить его эрудицию и стиль, старый Франселино Алмейда, окруженный коллегами, среди которых были Энрике Андраде и Афранио Портела, вспоминает забавный случай, происшедший с ним самим и с Лизандро Лейте, который был в ту пору кандидатом в Бразильскую Академию с сомнительными шансами на успех.

Дипломат читал но пятницам в Пен-клубе лекции о классическом японском искусстве. Тема никого не интересовала, и немногочисленная аудитория редела от лекции к лекции. Вот тогда-то Лизандро ухитрился набить зал Пен-клуба до отказа. Он собрал у себя на кафедре коммерческого права самых нерадивых студентов, которым грозили серьезные неприятности, и, посулив им высокие баллы на следующих экзаменах, привёл не менее дюжины слушателей в зал, где Алмейда излагал сведения о кодзики, манъёсю, о моногатари, никке[[19]](#footnote-19) и тому подобных прелестях. На предпоследней лекции, не считая Лизандро с его запуганными студентами, присутствовали только президент Пен-клуба и курьер — оба по долгу службы. Слушатели уместились в двух первых ря­дах маленького зала. Накануне последней лекции состоялись выборы в Академию, и Лизандро, ко всеобщему удивлению, вышел победителем. Среди тех, кто голосовал за него, был Франселино, который, не зная, кому из трех одинаково невлиятельных кандидатов отдать предпочтение, склонился к прилежному и любезному слушателю... Надо ли говорить, что на последней лекции аудитория состояла из президента, вышеупомянутого курьера и четверых служащих Пен-клуба — швейцаров и сторо­жей. Едва сделавшись академиком, Лизандро счёл себя свободным от всех обязательств и освободил от них своих студентов.

— Сейчас-то что... Я желал бы увидеть тут генерала после избрания. Боюсь, что, если он пройдёт в Акаде­мию, мы лишимся слушателя. А генерал, в сущности, неплохой человек, но вожжи-то в руках у Перейры. Как тут быть — ума не приложу...

Публика стала расходиться. Франселино Алмейда попрощался с академиками:

— Благодарю вас, Энрике, но сегодня я не воспользуюсь вашей любезностью и пойду пешком. У меня назначено свидание.

— С дамой? — ехидно спросил Андраде.

Старик пропустил вопрос мимо ушей.

— Этот генерал внушает мне симпатию.

А причина этой неожиданной симпатии — швея по профессии, секретарша по легенде, разработанной акаде­миком Портелой, — в этот самый момент направлялась в «Синеландию», где у неё было назначено свидание с бывшим послом Бразилии в Японии и Швеции, увлекательным рассказчиком, который мог поведать интереснейшие истории о жизни на Востоке и в Скандинавии. Руки у посла, правда, тряслись, но всё ещё были проворны и ловки.

— Мои маркитантки разлагают вражескую армию, — заметил Афранио Портела, садясь в машину.

В этот вечер академики с жёнами — доной Розариньей и доной Жулией Андраде — собирались поужинать в казино, где выступал знаменитый оркестр Карлоса Машадо «Бразильская серенада» и пел юный гений Гранде Отело — настоящий гений, клянусь честью!

### ПРИГЛАШЕНИЕ

Полковник Перейра снова сидит в своем кабинете, где бессонными ночами принимались ответственные решения — только не за письменным столом (враг, гнездив­шийся в траншее по ту сторону линии фронта, разбит), а в углу комнаты, на глубоком кожаном диване. Рядом с ним его покровитель, академик Лейте. На стене висят карты Европы и Африки: булавки с черными головками надвигаются через Ла-Манш на Британские острова, штурмуют пустыню Сахару, Дыхание войны чувствуется на этом передовом КП.

— Подожди, милый Агналдо! Не рассказывай об ужине у президента. У меня для тебя ещё одна хорошая новость: мне звонила секретарша Персио Менезеса и просила передать, что в понедельник он ждет тебя к ше­сти вечера.

— Где?

— У себя. Раньше он принимал в Институте Физики, но сейчас уже не выходит. Он живёт на улице Косме-Вельо.

— Да, я знаю. Адрес есть в нашем списке.

— Он хочет лично вручить тебе свой голос — важнейший, самый желанный из всех голосов. Я слышал однажды, как провалившийся на выборах претендент говорил, что поражение ничего не значит, если академик Менезес голосовал «за». Ты, дорогой Агналдо, будешь последним, кого удостоит этой чести один из величайших умов современности, гениальный учёный Персио Менезес. Буду­щие историки вспомнят об этом. — Он помедлил мгнове­ние, чтобы полковник в полной мере оценил значение голоса умирающего ученого и этого исторического визита, который состоится благодаря его, Лизандро, стараниям. — Ну рассказывай, как прошёл ужин.

— Нет уж, теперь ты подожди. У меня тоже есть для тебя новость. — Полковник, исполненный торжественной воинственности, поднялся; вслед за ним встал и взволнованный Лизандро, радостное предчувствие охватило его — неужели сейчас последует вожделенное приглашение? Актерский голос полковника зазвучал в его ушах небесной музыкой. — Я хочу, чтобы ты, мой верный друг, произнёс речь на церемонии моего вступления в ряды «бессмертных». Отказа я не приму.

— Произнести речь? Мне? Ты не подозреваешь, с каким наслаждением исполню я этот почетнейший долг. Позволь мне обнять тебя, милый Агналдо! — Лейте пустил слезу. Вот так он и воспитывал сыновей, торил им дорогу, поднимаясь ступенька за ступенькой до самых высот. В эту минуту перед его провидческим взором воз­никла та вершина, на которую благодаря избранию полковника он совсем скоро взберётся. Да, Антонио Бруно умер вовремя.

После поцелуя, которым была скреплена дружба на жизнь и на смерть, полковник и академик снова опустились на диван.

— Подумать только, какое совпадение: я и не смел надеяться на такое доказательство твоего уважения и доверия ко мне, однако просто так, для собственного удовольствия, начал перечитывать твои замечательные книги. Захотелось мне, знаешь ли, написать о них статью. Что ж, эти заметки, в которых я хотел поставить тебя на принадлежащее тебе по праву место в нашей литературе, пригодятся мне для выступления. У меня нет только сборника твоих стихов — даже в лавке Карлоса Рибейро я их не нашёл.

— Грехи молодости, романтические бредни... Упомяни о них мимоходом, можно ограничиться заглавием. Впрочем, посмотрим, может быть, у меня где-то завалялся экземпляр. — Полковник и не думал выполнять обещание: возвышенно-романтические стишки не вяжутся с руководителем такого масштаба, как он.

Лизандро наконец удается совладать со своим вол­нением.

— Да, как прошла трапеза? Знаю, что о выборах вы не говорили, это запретная тема, но приглашение на ужин равносильно обещанию голосовать за тебя.

— О выборах речи не было: я в точности следовал твоим наставлениям. Президент рассказывал, как он был мальчиком на побегушках в той самой газете, которой теперь владеет. Потом его жена принялась расхваливать — никогда не угадаешь кого... проклятого британского пса, что отзывается на кличку «Черчилль»! — Полковник самодовольно улыбнулся. — Ну, тут я им вправил мозги...

— Вы спорили о войне? — встревожился Лизандро. — Ведь мы же с тобой договорились: этой темы не касаться!

— Не волнуйся. Мы не спорили. Она вмиг заткнулась и не возражала. И учти, Лизандро, что она начала первая, я только отвечал. А вообще-то давно пора вразумить эту публику.

Лизандро замолкает: что толку теперь порицать полковника за неосторожный шаг? Сделанного не исправишь, сказанного не воротишь. Черчилль, де Голль, французские партизаны, мужественные лондонцы — все они играют на руку генералу Морейре, все они противники полковника Перейры. Но пусть даже и так — все равно Лизандро Лейте в конце разговора предрекает полковнику победу с перевесом в семнадцать голосов: двадцать восемь против одиннадцати. Если б можно было, он бы ещё увеличил этот разрыв, чтобы поблагодарить за долгожданное приглашение, Честно говоря, речь — вдохновенный образец беззастенчивой лести — давно готова и отредактирована.

— Не страшно, если будет и двадцать семь к двенадцати. Главное — набрать вдвое больше голосов, чем «Линия Мажино». Иначе я буду считать, что мы потерпели поражение.

### ПРИВИЛЕГИЯ

В воскресенье, когда Лизандро шлифовал свою речь, его позвали к телефону. Звонил полковник Перейра. Лизандро уже по первым звукам его голоса понял, что неприятнейшее известие достигло ушей полковника. Он не ошибся.

— Я только что узнал, что президент пригласил на ужин Морейру. Что означает этот фарс? Я не потерплю этого!

— Всё Черчилль виноват...

— Что? При чем тут Черчилль? Жена президента сама заговорила о нём... Поведение Кармо неслыханно. Это издевательство, глумление, низость!

Вот какую жабу преподнес президент Кармо полковнику Перейре. Это уже не жаба, а гремучая змея с ядовитым жалом.

— Не волнуйся, Агналдо. Возьми себя в руки. Давай поговорим спокойно. Пусть Кармо голосует за Морейру: двадцать семь голосов против двенадцати; это на три голоса больше двойного превосходства. Не забудь, что голос Персио стоит пяти.

Лизандро знал о странном поступке президента ещё позавчера и пришел к выводу, что на его решение повлиял спор о войне. Любезный друг Агналдо никак не хотел понять, что кандидат в академики ни в коем слу­чае не должен высказывать собственное мнение, если даже таковое у него имеется. Вот и поплатился. Дело кандидата — слушать и кивать. Если же он не согласен, все равно обязан молчать и улыбаться. Упаси бог спорить и доказывать. Всегда прав тот, кому принадлежит право выбора. Это привилегия «бессмертных».

### ТРАУРНЫЙ МАРШ

Миловидная строгая девушка — горничная? секретарша? родственница? — с удивлением смотрит на суету агентов охраны, которые выпрыгивают из автомобилей и занимают позицию у подъезда. Потом она молча приглашает полковника Агналдо Сампайо Перейру в парадном мундире со всеми орденами и медалями следовать за собой и через полутёмный коридор ведет его в комнаты.

Они оказываются в библиотеке. Стены до потолка уставлены стеллажами с книгами: книги повсюду — они громоздятся на полу, на стульях, ими завален массивный письменный стол. В простенках висят три картины и изображение Богоматери, кормящей грудью младенца Иисуса. В углу стоит подрамник с холстом — это выполненный в современной манере портрет хозяина дома работы Флавио де Каральо: тёплые тона, широкие, смелые мазки. Солнце и звезды запутались в густой бороде, всклокоченных волосах; глаза полыхают огнём: Зевс-громовержец, Гефест, выковывающий преисподнюю. На столе в хрустальной вазе — яркие, весёлые цветы.

Полковник смущён и несколько взволнован внезапно возникшим ощущением собственной ничтожности. Пытаясь прогнать это неприятное чувство, он вслушивается в звуки рояля, доносящиеся из другой комнаты. Что-то знакомое... Где он мог слышать эту вещь?.. Во время его пребывания в Санта-Катарине единомышленники несколько раз устраивали концерты немецкой музыки. Полковник знает о пристрастии фюрера к Рихарду Вагнеру. Может быть, и эти воинственные аккорды, возвещающие окончательную победу, созданы германским гением?

— Садитесь, пожалуйста. Профессор сейчас выйдет.

— Скажите, что это играют? Вагнера, не правда ли?

Девушка, похоже, удивлена этим вопросом, она отвечает не сразу. Взгляд её прикован к сверкающим орденам на груди полковника. Какая странная девушка...

— Нет, это не Вагнер. Это Третья симфония Бетховена, «Героическая». Очень известное произведение... — И она добавляет, словно желая предварить новые вопросы: — Играет дона Антониета. Услышать её — большая честь. Простите... — Девушка выскальзывает из комнаты.

Кто она — секретарша, родственница, прислуга? Какой менторский тон — словно с неграмотным говорит... Полковник остается один, смотрит на свои ордена и чувствует себя совсем уничтоженным, «...очень известное произведение... большая честь...», Антониета Новаис давным-давно не выступает, но предусмотрительный Лизандро успел шепнуть, что когда-то она пользовалась славой выдающейся пианистки.

Что уж, право, так смущаться и ёжиться в этой странной полутёмной комнате, где всё свидетельствует об остром уме и тонком вкусе её хозяина, где всё величест­венно, но не пышно, строго, но не уныло? Знаменитая пианистка в честь гостя села за рояль. Он пришел сюда по приглашению академика Менезеса — тот дал понять Лейте, что хочет лично сообщить полковнику, за кого намерен голосовать. По такому случаю Перейра надел парадный мундир со всеми орденами — великому учёному будет приятно. Голос Персио Менезеса равноценен пяти другим голосам. Но до чего же не вяжутся его мундир и ордена с этой заваленной книгами комнатой, с этими картинами с изображением Пречистой, совсем не похожим на обычное, церковное! Может быть, Лизандро был прав, когда советовал полковнику идти в штат­ском, — он чувствовал бы себя вольготнее, не был бы так растерян и скован?..

Бетховен, конечно, великий композитор, но фюрер все-таки больше любит Вагнера, а фюрер всегда прав, фюрер разбирается и в стратегии, и в искусстве. А разве стратегия — не искусство? Аккорды замирают. Полковник с отвращением разглядывает холст на подрамнике — мазня! Он отводит взгляд, но огненные глаза неотступно следуют за ним, беспощадно пронзают насквозь.

За стеной снова раздаются звуки рояля: теперь звучит траурный марш. Отводя глаза от портрета, подавленный могущественной музыкой, полковник поднимает голову и видит, что в дверях, как в портретной раме, стоит, впившись в него огненным взором, сама Смерть. Полковник вздрагивает.

Призрак приближается тихими шагами, так медленно, что кажется — время остановилось. До своей болезни Персио был могучим великаном — теперь это живой скелет, обтянутый высохшей кожей. Длинная борода свалялась, костлявые руки висят как плети, просторная одежда не скрывает, а только подчеркивает страшное разрушение тела. Мертвенно-бледное восковое лицо — лицо трупа.

Персио Менезес уже совсем рядом. Испуганный полковник встаёт, звякают на груди медали. В отдалении отчетливо слышатся аккорды похоронного марша.

— Садитесь, — слышит полковник глухой, как будто из-под земли исходящий голос.

Он не протягивает гостю руку, обезображенную болезнью до такой степени, что она кажется уродливой птичьей лапой. «Не хочет, чтобы я прикасался к его иссохшим пальцам», — благодарно соображает полковник. Академик садится напротив полковника в кресло черного дерева, скупым жестом показывает, что гость может говорить. Усилием воли подавив растерянность, полковник Агналдо Сампайо Перейра, кандидат в члены Бразильской Академии, начинает свою льстивую затверженную речь, воздавая хвалу «бессмертному», который так близок к смерти, что уже Неотличим от нее.

Профессор небесной механики слушает его молча, полуприкрыв пылающие глаза. Волнами накатывают звуки рояля, взмывают вверх и падают наземь. Музыка сбивает полковника. Почему пианистка не играет Вагнера, если уж решила почтить гостя? Перейра сбивчиво излагает свою просьбу: он хочет верить, что выдающийся учёный окажет ему честь и проголосует за него, он надеется, что сеньор Менезес ещё не связал себя обещанием с другим претендентом...

— Я уже давно всё решил, — раздается глухой медленный голос: каждое слово дается говорящему с трудом, — я не стану поддерживать генерала Морейру, который посетил меня несколько дней назад. Лично против него я ничего не имею, но его сочинения из рук вон плохи. Поэтому я не буду голосовать за него, — теперь слова звучат более внятно, хоть он и не повышал голо­са. — Жить мне осталось недолго, но перед смертью я хотел вас видеть. Я знаю о вас всё, полковник Перейра.

В первый раз с тех пор, как он переступил порог этого дома, полковник вздыхает полной грудью. Настал торжественный и волнующий миг: сейчас он заручится поддержкой Персио; письмо в Академию, должно быть, уже перепечатано и лежит на столе. Нервы полковника напряжены, он ждёт, стараясь не слышать звуков похоронного марша. Странная честь, воля ваша!

Персио Менезес протягивает иссохшую руку и кончиками пальцев дотрагивается до иконостаса на груди полковника.

— А где Железный крест? — И, не давая тому ответить, поднимает руку к лицу ошеломленного визитера. — Это единственный орден, который вы имеете право носить. Но только не на мундире офицера бразильской армии, а на черном мундире гестаповца.

— Что? — лепечет полковник, остолбенев.

Опёршись о подлокотники, Персио Менезес приподнимается с кресла — сама Смерть встаёт вместе с ним.

— Как вы смели просить у меня мой голос? Вы — нацист! Вы — враг культуры Бразилии и бразильского народа!

Звучит похоронный марш. Замогильный голос, в котором слышится отвращение, исходит, кажется, из самых глубин истерзанного болезнью тела. Долгие паузы отделяют слово от слова:

— В каждом из нас добро борется со злом. Но вы хуже чем робот, вы получеловек, вы палач. Неужели у вас есть жена, дети, любимое существо? Не верю. Неужели кто-то любит вас? Не может быть. Те, кто служит вам, куплены или запуганы. Вы когда-нибудь любили? Испытывали нежность к женщине? Улыбнулись ребёнку? Неужели вы всегда были жалким существом — таким, как сейчас? Вы гниёте заживо, от вас разит падалью. Вы хотели, чтобы я голосовал за вас? Как вы смели подумать, что я проголосую за гестаповца?

Протяжный, глухой голос окреп.

— Вон отсюда, или я вас ударю!

Он замахивается, и совершенно потерявшемуся полковнику кажется, что сама Смерть занесла над его головой костлявую руку. Полковник Перейра пятится к выходу. Могучие звуки похоронного марша заполняют комнату. Смерть наступает на полковника, и он выбегает в коридор, выскакивает в распахнутую секретаршей дверь; у подъезда его подхватывают громилы-охранники. Забившись в машину, он закрывает лицо руками.

### МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Пробудившись, дона Эрминия встала с кровати и удивилась, что её муж ещё крепко спит. К этому часу ему уже давно полагается сделать гимнастику, принять холодный душ, одеться, залпом выпить кофе и сидеть в своем кабинете в Военном министерстве: он никогда не опаздывает. Дона Эрминия, если не случается чего-то из ряда вон выходящего, видит своего мужа только поздно вечером или на рассвете. Полковник любит с пафосом повторять, что себе не принадлежит — его время, его заботы, его жизнь отданы делу. Дона Эрминия привыкла.

Что-то уж больно крепко он спит... Дона Эрминия тронула лицо мужа кончиками пальцев. Полковник Пе­рейра был мёртв.

Выражение какой-то наивной растерянности застыло в его круглых глазах, полуприкрытых веками. Нет, ни­кто не поверил бы, что это герой, павший на поле брани; нацист, который для многих был воплощением мракобесия и зла; начальник бразильского гестапо, кнутобоец и палач. На кровати лежал маленький мёртвый человек в пижаме, и был он точно такой же, как и все мертвецы, — не лучше и не хуже.

Он кого-то напоминал доне Эрминии. Она стала вспоминать: лицо покойного было похоже на лицо того юного, робкого и пылкого лейтенанта, которого она так давно знала и так давно не видела... Он читал ей стихи и вымаливал поцелуи. Дона Эрминия вспомнила и тихонько заплакала.

## III

## ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА ПЛОЩАДИ КАСТЕЛО

### СВЕДЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОГЛАСКЕ

— Мы похороним полковника пышно и спешно и избавимся от него раз и навсегда, — говорил начальник Департамента печати и пропаганды, о политическом двуличии которого речь у нас уже шла.

Он только что кончил сочинять правительственное сообщение о смерти полковника Агналдо Сампайо Перейры — «отважного защитника родины, безупречного офицера, чья беззаветная преданность Новому государству являлась важным фактором в деле укрепления правопорядка и отражения коммунистической опасности».

Редактор из Национального агентства печати осведомился:

— А Хозяин будет на похоронах? Или придёт только на бдение?

— Кто? Президент? Ты с ума сошел! Не будет его ни на похоронах, ни на панихиде. Он признавал, что новопреставленный Геббельс Перейра — человек полезный, но терпеть его не мог. «От него несёт средневековьем» — так он мне сказал однажды.

Беседа приняла доверительный характер, и редактор решил подольститься:

— Какие интереснейшие воспоминания напишете вы когда-нибудь!

— Для того чтобы писать воспоминания, надо многое помнить, а тот, кто многое помнит, на моей должности не задерживается. Понял? И потому я слеп, глух и беспамятен. Только что ещё не импотент. Пока.

«Вот ведь сволочь какая, — думает редактор, — а все же симпатичный. Разве так бывает?» Вслух он сказал то, о чём гудели все редакции.

— Подумать только: полковника Перейру все дружно ненавидели, а умер он своей смертью, в своей постели. Можно считать, ему повезло... Случись в один прекрасный день какая-нибудь заварушка, он бы живым не ушёл. Его бы растерзали.

— Насчёт постели я не спорю. Но разве это называется «своей смертью»? Его травили цикутой. Малыми порциями.

Сенсационное сообщение, полученное, можно сказать, из первых рук! То-то будет шуму, когда редактор расскажет об этом товарищам. Недаром говорят, что лидеры Нового государства отчаянно борются за власть и за кулисами творятся страшные дела.

— Отравили цикутой? Кто? Как?

— Старички академики. Травили ядом, изо дня в день увеличивая дозу. Последнюю чашу поднес ему Персио Менезес.

Начальник ДПП вдруг скосил взгляд куда-то за окно, на железобетонные громады новых кварталов.

— Великий человек этот Персио Менезес... Гениальный человек. Ты слыхал, что когда он работал в Принстоне, то вычислил местонахождение и открыл две неизвестные звезды? Он заселяет небеса... — начальник вдруг улыбнулся, — ...и преисподнюю.

### ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Сразу после смерти Антонио Бруно академик Лейте пообещал всемогущему полковнику Перейре почетное одиночество на выборах. Однако через восемь дней после того, как истёк срок подачи заявлений в Академию, умер сам полковник Перейра. Его похоронили с большой помпой: ползли танки, гремели трубы военного оркестра, чеканили шаг солдаты, звучали надгробные речи и залпы салюта. А единственным кандидатом остался генерал Валдомиро Морейра, в успех которого на выборах мало кто верил. Однако генерал, как видно, родился в сорочке.

Он узнал о смерти врага от верного Клодинора Сабенсы, который пять часов в день трудился в редакции «Диарио да тарде», приводя безграмотные репортажи и хронику в соответствие с нормами португальского языка.

— С вас причитается, ваше превосходительство! Я хочу первым поздравить нового «бессмертного»!

Ох, бедное сердце генерала Валдомиро Морейры, сра­ботавшийся механизм!.. Оно то и дело дает перебои; надо беречься, надо избегать волнений... Попробуй-ка уберегись тут, в самый разгар предвыборной схватки. Что же случилось? Помнится, Афранио Портела допускал возможность того, что негодяй Перейра снимет свою кандидатуру.

— Он снял свою кандидатуру? — «Он», а не «Геббельс» или иное обидное прозвище: генерал знал, что его телефон прослушивается с тех самых пор, как он решился баллотироваться в Академию. Один из надежных друзей предупредил его, посоветовав ему и ветренице Сесилии сохранять сдержанность.

— Он сыграл в ящик. Умер.

— У! Когда?!

Сердцебиение усиливается. Куда там запропастились Консейсан и Сесилия? Ему надо принять таблетку и за­пить водой.

— Уснул и не проснулся. Похороны сегодня в пять часов. Будет на что посмотреть: министр скажет надгробное слово, выведут танки, будет салют. Прием заявлений прекращён, конкурент в могиле. Вы стали академиком досрочно.

К счастью, в эту минуту в комнату вошла дона Кон­сейсан и, оценив ситуацию, бегом бросилась за лекарством. Узнав о своём избрании, генерал чуть не умер.

Когда опасность миновала, генерал раскинулся в кресле и с ликованием объявил о великом событии жене и Сесилии, густо намазанной кремом (она обстоятельно наводила красоту перед свиданием с Родриго):

— Вы видите перед собой генерала Валдомиро Морейру, члена Бразильской Академии, «бессмертного»!

Уже потом, много времени спустя, дона Консейсан горько недоумевала: почему человек не может сам выбрать себе час смерти?

### ВОИТЕЛЬНИЦА

Узнав о смерти полковника Перейры, Мария Мануэла позвонила Афранио Портеле и спросила, не смогут ли они встретиться в тот же день. После похорон Антонио Бруно они часто и подолгу разговаривали по телефону, и романист сообщал ей все подробности военных действий. Теперь она требовала свидания, чтобы получше разузнать об этом невероятном происшествии и предупредить, что вскоре они с мужем уезжают из Бразилии: уже сидят на чемоданах.

Маленький бар на крыше небоскреба возле Прайа-до-Фламенго, откуда открывался вид на залив, в эти утренние часы пустовал: лишь кое-где в уголках шептались влюбленные парочки, зато вечером, когда начиналась программа варьете с участием звёзд, там было не протолкнуться. Афранио и португалка сели так, чтобы видеть похоронную процессию на площади Рассел. Военный оркестр играл траурный марш. На орудийном лафе­те был установлен гроб, покрытый бразильским флагом. Подразделение Специальной полиции — на новых немец­ких машинах и мощных мотоциклах. Кавалерийское оцепление. Черные автомобили с высоким начальством. Замыкали кортеж два танка. Полковник Сампайо Перейра и после смерти не сдал командования.

Мария Мануэла не отрываясь смотрела на всё это. Потом потребовала объяснений:

— Скоропостижно, да? А от чего?

— Не столько скоропостижно, сколько неожиданно. Отчего он умер, вы спрашиваете? Разве не ясно? Он пал от руки врага. Впрочем, этого мы не добивались — у нас были другие планы. Отдадим полковнику должное: он погиб в бою.

— Подождите, местре, не так быстро: ваши ребусы вконец меня запутали. Он погиб в бою? Как это понимать? А смерти его вы не хотели? Чего же вы добивались?

— Мы добивались капитуляции. — Портела отвел взгляд от похоронной процессии: куда лучше глядеть в прелестные печальные глаза последней возлюбленной Бруно. — Сампайо Перейра был самовлюблённый дурак: он считал себя всемогущим и был уверен, что никто на свете не осмелится препятствовать его воле. Наша стратегия преследовала только одну цель — вынудить полковника к капитуляции, то есть к отказу от баллотирования. Тактические же удары имели целью деморализовать и измотать противника. Полковник не привык ни к разочарованиям, ни к неудачам, он всё больше и больше приходил в ярость, он был измучен и опустошён. Он на­деялся стать единственным претендентом — вместо этого нежданно-негаданно обрёл соперника. Он мечтал о единогласном избрании — мечта так мечтой и осталась. Потом он начал один за другим терять обещанные голоса, почувствовал, что встречает активное сопротив­ление. Фигейредо его оскорбил, Эвандро унизил. И тогда полковник утратил уверенность в себе, растерялся.

— Он признал себя побежденным?

Похоронная процессия, сопровождающая «героя к его последней траншее, траншее бессмертия» (так выразится военный министр в своей надгробной речи), медленно и торжественно следует дальше. Движение на улицах перекрыто. На тротуарах толпятся зеваки.

— О, нет! Не знаю, победили бы мы его, если б дело дошло до выборов. Очень сомневаюсь. Весь расчёт стро­ился на том, что обескураженный, оскорблённый полковник Перейра, боясь поражения, добровольно откажется от борьбы. Ужин у президента нанёс ему тяжкий удар: он испугался. Мы хотели, фигурально выражаясь, накормить его жабами и змеями так, чтобы он изблевал свое намерение стать академиком. А он подавился и задохнулся.

Звуки музыки отдаляются. Кортеж доходит до проспекта Лигасан и постепенно исчезает за поворотом.

— Полковник внушал Персио такое отвращение, что я с большим трудом уговорил его принять кандидата. Он любил Бруно и потому согласился на это. Его жена тоже любила Бруно и потому села за рояль и сыграла траурный марш из «Героической» Бетховена. Я разгова­ривал с Персио по телефону: он боится, не переусердствовал ли вчера. Когда Перейра выразил надежду получить голос Персио, тот разъярился до такой степени, что едва не дал ему пощечину. Полковник в беспоряд­ке отступил. Доза оказалась смертельной: ко мне он уже не придёт. Ну вот, красавица моя, память Бруно очищена от скверны. Я выполнил своё обещание. Мы сделали всё возможное и невозможное. И старались не зря.

Мария Мануэла склонилась и поцеловала руку местре Афранио.

— Я хотела бы поцеловать руку и профессору Менезесу. Как он себя чувствует? Неужели нет никакой надежды?

— К сожалению, ни малейшей. Боюсь, что, прогнав полковника, он внёс свой последний вклад в дело бразильской культуры.

— Что ж, тогда меня здесь больше ничто не держит. Афонсо назначен послом в Венесуэлу. Отец выхлопотал нам разрешение не заезжать в Лиссабон — морские путешествия сейчас небезопасны. Мы отправимся в начале следующего месяца из Манауса.

В молчании собеседники созерцали ослепительную панораму, раскинувшуюся перед ними: залив Гуанабара, острова, пляжи, лёгкие домики Нитероя.

— А знаете, где я познакомилась с Бруно? Там, в Нитерое. Невероятная история... Я могу рассказать, если вы не спешите.

— Я совершенно свободен. Со дня смерти Бруно я впервые могу позволить себе роскошь никуда не спешить. К тому же я обожаю невероятные истории. — Печальное лицо Марии Мануэлы осветилось озорной улыбкой.

— Это старая сказка на новый лад, глупая сказка про политику и супружескую неверность. — Она помолчала, а потом спросила: — Вам известно, что я принимаю участие в борьбе с салазаровским режимом?

— Бруно читал мне стихотворение о богине с Олимпа, у которой в руках меч. Превосходные стихи.

— «Богиня и фигляр» — это одно из первых стихо­творений, мне посвящённых. Ну так вот: в Нитерое у меня была назначена встреча с португальским эмигрантом, который обещал принести мне кое-какие документы. Их следовало переправить в Португалию, а у меня были возможности для этого...

Да, у дочери салазаровского министра, у невестки крупнейшего банкира, у жены советника португальского посольства были особые возможности для борьбы с фашизмом: она находилась в самом логове врага, имела доступ к секретной информации, знала в лицо агентов ПИДЕ, действующих в Бразилии, и могла использовать дипломатическую почту для своих личных нужд... С удивлением смотрит Афранио Портела на сидящую перед ним женщину — светские хроникеры обожествляют её, неустанно восхищаясь её красотой, элегантностью, вкусом и тактом. Кто бы мог подумать, что королева дипломатического корпуса и светских салонов — подпольщица, которая занимается нелегальной деятельностью и связана с «подрывными элементами»? Вот это тема для романа! Размышляя об этом, Афранио Портела чувствует сильнейшее искушение вновь вернуться к беллетристике.

— Встреча была назначена в баре бухты Святого Франциска. Как мы и условились, я пришла первой, купила в табачном киоске сигареты, и тут появился мой товарищ — почти бегом. Он был явно напуган. Сунул мне конверт и успел шепнуть, что за ним хвост. «Тебя филёры видеть не должны», — сказал он и исчез. Я спрятала конверт в карман. Куда мне было деваться? Представьте, что было бы, если бы агент меня опознал?

Афранио Портела наслаждается рассказом. Ах, какая глава романа могла бы из этого получиться!..

— Тут я заметила за столиком Антонио Бруно. Он что-то потягивал из рюмки — наверняка ждал даму. Я узнала его по фотографиям: я читала его книги и зачитывалась его стихами в студенческие годы. Ни минуты не колеблясь, я подсела к нему и сказала, что субъект, который топчется перед дверью кафе, заглядывая внутрь, ни в коем случае не должен меня узнать. Бруно ни о чём не спросил. Агент мог заподозрить кого угодно — только не меня, тем более что Антонио заслонил от него моё лицо. Поцелуй был бесконечен... Потом он посадил меня в такси, так и не задав ни единого вопроса.

Афранио Портела уже думает, как построить повествование. Может быть, завтра он вставит в машинку чистый лист бумаги, отложит заметки о поэтах-инкофидентах[[20]](#footnote-20) и опишет политические интриги в посольстве Португалии, мытарства политэмигрантов, последнюю страсть Антонио Бруно, тайну Марии Мануэлы!

— На следующий день я получила книгу с дарственной — очень церемонной — надписью и корзину великолепных орхидей. А потом он позвонил по телефону... Раньше я умела только сражаться — Антонио пробудил во мне любовь, открыл во мне женщину.

Где-то в отдалении гремит салют. Первая горсть земли падает на гроб с телом полковника Агналдо Сампайо Перейры.

### ДАМА В ЧЁРНОМ

###### I

Вначале она сопротивлялась. Вовсе не потому, что любила мужа или считала свой брачный союз священным и нерушимым, — нет, даже тени нежности не было в её отношениях с ленивым, легкомысленным, ничтожным человеком, мечтавшим лишь о наградах и отличиях. Больше всего на свете он хотел, чтобы дворянский титул облагородил те огромные деньги, которые его отец нажил в колониях, нещадно эксплуатируя негров, и приумножил в метрополия по милости правительства Португалии. Афонсо Кастиэл хотел стать аристократом — потому он и избрал благородную дипломатическую стезю, предоставив братьям плебейскую возможность управлять банками, вкладывать деньги в промышленность и сельское хозяйство. Потому он и женился на Марии Мануэле Ново Силварес д'Эса — наследнице старинного дворянского рода; девиз на его гербе гласил: «Королю вверяю я и жизнь свою и честь». Афонсо, если б было можно, охотно заменил бы славной фамилией жены свою собственную, ибо она недвусмысленно намекала на его происхождение. Прочнейшие узы — узы денег и дружбы — связывали миллионера Соломона Кастиэла и влиятельного политика Силвареса, министра иностранных дел Португалии: оба пользовались доверием и уважением диктатора, а заслужить у него то и другое было, видит бог, нелегко. Нет, таинству брака Мария Мануэла не придавала ни малейшего значения, а был этот брак её заданием, самым трудным заданием из всех, какие она когда-либо получала. Так почему же она боролась со своей любовью? По идейным соображениям.

Впервые Антонио Бруно увидел ее в баре в Нитерое. Он понимал, что страх разоблачения, толкнувший её в тот день в его объятия, касательства к делам любовным не имел. Тут пахло политикой, а то и шпионажем. Он видел, как у табачного ларька какой-то субъект сунул ей конверт. Красота этой женщины и окутывавшая её тайна мгновенно свели Бруно с ума: он влюбился. Её надо покорить — иначе и жить не стоит. Он должен во что бы то ни стало обладать этой женщиной — у неё губы цвета граната и лебединая шея...

Он начал правильную осаду, применив весь набор средств, проверенных долгим опытом в делах такого рода: цветы и книги, ласкающий голос и медовые речи, блеск ума и жар желания. Мария Мануэла была вежлива и неприступна. Крепость не сдавалась.

Изящная словесность помогла Бруно пробить первую брешь. В благодарность за его книги, которые он дарил ей со всё более нежными надписями, она однажды послала ему по почте тот единственный томик стихов, что вышел при жизни Фернандо Пессоа[[21]](#footnote-21). На титульном листе было написано: «Замечательному бразильскому поэту Антонио Бруно „Послание“ крупнейшего португальского поэта современности преподносит с глубоким уважением его читательница Мария Мануэла Силварес-Кастиэл». Бруно понаслышке был знаком с творчеством своего лиссабонского собрата, которому было суждено прославиться в Бразилии лишь после войны: наш интеллектуал, возросший на французской культуре, пренебрегал португальской словесностью. Разумеется, он читал книги великого Эсы де Кейроша и его современников: Рамальо, Антеро, Феррейры де Кастро. Знал имя Акилино Рибейры и отвергал меланхолическую поэзию Антонио Нобре, хотя любил стихи Сезарио Верде. Столь вопиющее невежество оскорбляло патриотические чувства прекрасной выпускницы филологического факультета Коимбры.

И вот благодаря Фернандо Пессоа и его гетеронимам телефонные разговоры Бруно и Марии Мануэлы стали более продолжительными, а за ними последовало первое свидание. Произошло оно в Португальском литературном лицее, куда прекрасная Мария Мануэла принесла уйму совершенно неведомых Бруно книг, но пришла она не только ради португальских поэтов: она уступила мольбам влюбленного Бруно потому, что его первый поцелуй до сих пор жёг ей уста, лишал её воли и воспламенял глубоко затаённые желания.

Выглядело всё это очень забавно: Бруно говорил о любви, а эрудитка Мария Мануэла отвечала на его пылкие речи платоническими рассуждениями о поэтах, группировавшихся вокруг журналов «Орфей» и «Презенса», предлагала ему почитать выпуски «Сеара нова». Что ж, Бруно применил против Марии Мануэлы её же оружие: он двинул в бой Превера и Бретона, Арагона, Элюара и Тцара — от поэта к поэту, от стихотворения к стихотворению они становились всё ближе друг к другу, и нежные слова всё чаще перебивали поэтические строфы. Литературные споры сгорели в пламени страсти. «Цыганское романсеро» Лорки оказалось той «ничейной землёй», на которой и выросла их любовь. Сидя на ска­мейке под деревьями в парке Силвестре, они читали «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния» Пабло Неруды и целовались.

Когда же Антонио Бруно скорбным, тихим голосом прочёл вдохновленные ею сонеты в духе Камоэнса, Ма­рия Мануэла сложила оружие. Она никогда не могла понять, что такое «быть порядочной женщиной». Может, это означает, что следует хранить верность Афонсо, хотя свет не видывал мужа более равнодушного к судьбе жены? «Делай со мной что хочешь!» — сказала Бруно побежденная и счастливая Мария Мануэла.

Для него эта связь была последним приключением, наваждением, безумством. Для Марии Мануэлы — первой любовью, которая открыла ей жизнь с неведомой стороны и новым светом озарила дело, занимавшее все её по­мыслы. Её товарищ Фернандо Кастро объяснил ей, что значит сострадать угнетённым, поэт Антонио Бруно на­учил её любви. «Без него я бы не стала тем, что я есть», — призналась она местре Афранио в день похорон полковника.

Первая любовь пришла к ней поздно: ей было уже двадцать восемь. Тогда-то и познала она полное, безграничное счастье — нежность и страсть, освобождение от всех оков. Неожиданная встреча в Нитерое произошла незадолго до рождества 1939 года; Бруно умер в сентябре 1940-го. Десять месяцев продолжался этот роман — десять прекрасных месяцев, не омрачённых ни единой размолвкой, ни единой минутой унылого душевного спокойствия.

###### II

В нарушение патриархальных обычаев семьи Мария Мануэла, окончив лицей, не захотела оставаться просто девицей на выданье. Она поступила на юридический, факультет Коимбрского университета, вольнослушательницей посещала лекции по филологии. Общительная, умная, веселая девушка окунулась в самую гущу студенческой жизни. Романтические свидания на берегу Мондего быстро ей наскучили — она сблизилась с левыми студенческими группами, которые привлекли Марию Мануэлу своим интересом к серьезным проблемам. Фернандо Кастро, хриплоголосый аскетического вида студент-юрист, взял на себя труд просветить её. Покуда остальные наперебой ухаживали за ней, попусту теряя время на чувствительные объяснения, только смешившие её, Кастро говорил о политике, о том, что народ задыхается от нищеты, о гнёте салазаровского режима, о преступности колониальной политики Португалии, об алчности империализма, высасывавшего из страны все соки. Он давал ей запрещённые книги и с восторгом рассказывал о новом обществе, в котором не будет ни классов, ни частной собственности, где все получат хлеб, свободу и право пользоваться благами культуры. Мария Мануэла была потрясена. Она подала заявление и после испытательного срока и нескольких проверок, неизбежных для человека ее происхождения, была принята в партию, получив партийную кличку Берта.

Возвращаясь на рассвете с тайного собрания, она чувствовала безмерное счастье и в укромном углу возле древней университетской стены отдалась Фернандо, ко­торый отрекся от своей суровой морали и применил на практике презираемую им раньше теорию свободной любви. Его нельзя винить и можно понять: только каменное изваяние смогло бы остаться равнодушным к прелести Марии Мануэлы. Кастро же, проводивший с нею дни и ночи, был не из камня, а из плоти — хотя и довольно тощей.

Фанатик по душевному складу и убеждениям, Фернандо Кастро в том же духе воспитал Марию Мануэлу: она не признавала ничего, что хоть немного напоминало бы о роскоши, элегантности, блеске, — ни дорогих платьев и туфель, ни кремов и пудры, ясно свидетельствовавших, по её мнению, о загнивании капиталистической морали. Мария Мануэла не прибегала ни к каким ухищрениям, чтобы подчеркнуть сияющую красоту лица и божественное изящество фигуры, она и так сводила с ума студентов и профессоров. Она вдохновляла своих поклонников на создание ужасающих сонетов, чудовищных новелл, отвратительных стансов и канцон, однако все эти проявления буржуазного упадничества нимало её не трогали. Скупые ласки Кастро вполне удовлетворяли её неразбуженную чувственность. Главное — революция, всё остальное — второстепенно. Раз и навсегда переборола она в себе и нежность, и вожделение.

Кастро был схвачен полицией во время одного из тайных собраний в Серра-да-Эстреле. Мария Мануэла хотела добиться с ним свидания, но ей не разрешили, и она, не допытываясь до причин строгого запрета, подчинилась. Она училась, получила диплом, все больше втягивалась в нелегальную работу. Замену политическим урокам своего наставника, мысли которого хоть и были прямолинейно суровы, но освещались огнем благородного вдохновения, она нашла в поэзии. Ни сокурсники, ни члены её организации не смогли заинтересовать её, а Фернандо Кастро, приговоренный к длительному сроку заключения, срока своего не отбыл: через несколько месяцев после ареста он умер в лагере Таррафал. Мария Мануэла оплакивала не гибель возлюбленного — она скорбела о смерти единомышленника.

Вернувшись в Лиссабон по окончании университета, она собиралась порвать с семьёй и вызвалась работать в подполье. Ей этого не позволили. Больше того: когда Афонсо Кастиэл сделал Марии Мануэле предложение, ей посоветовали принять его.

«Посоветовали» сказано не совсем точно: она получила не совет, а приказ выйти замуж за дипломата. После того как она со смехом рассказала руководителю своей группы о сватовстве Кастиэла и добавила, что никогда не выйдет за этого скудоумного вертопраха, её через два дня вызвали на чрезвычайно важную и секретную встречу. С завязанными глазами Марию Мануэлу долго куда-то везли; в машине был только незнакомый шофер, не проронивший за время пути ни слова. Впервые в жизни ей предстояло увидеть одного из своих главных руководителей.

Машина остановилась, шофёр взял Марию Мануэлу да руку и, как слепую, ввёл в дом, потом произнес: «Подождите здесь», — и исчез. Через некоторое время раздался вежливый и безразличный голос: «Можете снять повязку». Она увидела перед собой человека средних лет, худого, со впалыми щеками. Глаза его горели, во всём облике было что-то от апостола. «Очень рад с вами познакомиться, Берта, — сказал этот человек и протянул руку. — Садитесь, нам с вами о многом нужно поговорить. Меня зовут Невес». Сердце девушки заколотилось. Так вот каков этот легендарный Невес, герой, про которого рассказывали невероятные истории, главный теоретик их партии. Какая-то внутренняя сила, невольно внушавшая уважение и заставлявшая повиноваться чувствовалась в этом человеке.

На минуту Невес показался Марии Мануэле близким и добрым. Это было в начале беседы, когда он почти с нежностью заговорил о погибшем в лагере Кастро, которого жестоко пытали на допросах и который вел себя как герой, не рассказав ничего из того, что знал — а знал он немало — о подпольных студенческих кружках в Коимбре, и бросив проклятие в лицо палачам. «Это при­мер для нас всех», — закончил Невес. Потом голос его вновь зазвучал повелительно-бесстрастно: «Ну а теперь поговорим о вас».

Он обращался к ней уважительно, но без всякого тепла, говорил только о деле — одна лишь революция служила им связующим звеном, и больше ничего общего между ними не было. Руководитель сообщал рядовому бойцу решение, а ей надлежало выполнить полученный приказ. Невес знал о её работе в Коимбре и Лиссабоне, за что-то он суховато похвалил ее, за что-то поругал. Наставительно и веско Невес заявил, что до сих пор Марию Мануэлу использовали не по назначению. Учитывая пост, который занимает её отец, и престиж её семьи в обществе, Берте отныне будут поручены особые задания — и без неё найдётся кому распространять листовки и писать на стенах лозунги.

В отношении Берты принято соответствующее решение. Она будет поддерживать постоянный контакт лишь со специальным уполномоченным, который поможет ей в её новой работе. Война в Испании в самом разгаре, и Берта, дочь министра иностранных дел, вхожая в правительственные круги, окажет партии неоценимые услуги. Её задача — собирать и передавать информацию, а для расширения сферы деятельности Берте необходимо принять предложение дипломата Афонсо Кастиэла и стать его женой.

Ошеломленная Берта не скрывала своего разочарования и попыталась было возражать: она готовила себя совсем к другому, ей хотелось стать не шпионкой, а революционеркой. Тут голос Невеса, холодный и режущий, словно стальной клинок, произнес, положив конец спорам и обидам:

— Из ваших слов, Берта, я заключаю, что вы ещё не освободились от мелкобуржуазной психологии, ещё не стали настоящим борцом. Мы поручаем вам ответственнейший участок борьбы, считая, что вы справитесь с возложенным на вас поручением, а вы, вместо того чтобы гордиться таким доверием, пытаетесь оспаривать решения руководства. Вам не терпится проявить свой героизм? Чего вы хотите? Малевать лозунги на стенах? Выступать на летучих митингах? Разбрасывать листовки на ярмарках? Мы даём вам задание. Вы обязаны выполнить его.

Мария Мануэла, ещё не осознав бессмысленность спора, поняла, что совершила ошибку: она действительно всё ещё не изжила глупых и романтических представлений о революционной борьбе. А вот Невес — настоящий борец, которым можно лишь восхищаться.

— Вы правы, Невес. Я постараюсь преодолеть мою классовую ограниченность и стать достойной вашего доверия, — сказала она, а про себя произнесла свой девиз: «Вам вверяю я жизнь свою и честь».

Бракосочетание Марии Мануэлы Ково Силварес д'Эса и Афонсо Кастиэла стало самым ярким событием года, и о нём долго ещё вспоминали лиссабонцы. Платье, фата, букет бледной и обворожительной невесты были выписаны из Парижа... «Свадебный марш» исполнен знаменитым органистом Клаусом Бергманом, специально для этого случая приехавшим из Вены... Венчал их в кафедральном соборе святого Иеронима сам кардинал, который во имя господа благословил союз двух знатных и могущественных семей, представители которых связаны отныне священными узами брака... Свадебное торжество прошло с беспримерной пышностью и блеском.

Утонченный и надушенный Афонсо интересовал Марию Мануэлу в постели ещё меньше, чем застенчивый и грязноватый Фернандо. Сняв фрак, идиот молодожен собрался изобразить бурную страсть и заверил супругу, что бояться нечего — он будет так нежен и осторожен, что она ничего даже не почувствует... Афонсо всерьёз полагал, что лишил её девственности. Свои ласки он поровну делил между женой и певичкой из Алфамы, которую содержал вместе с весёлой оравой её бездельников кузенов.

Невес оказался прав. Мария Мануэла передавала бесценные сведения, важнейшую и секретнейшую информацию, полученную в кабинете отца, в доме свёкра, в супружеской спальне. Афонсо очень любил рассказывать ей последние слухи, сплетни, новости, которые собирал в коридорах министерства, в приёмных правительства...

Он получил назначение в Бразилию, на должность советника посольства, и Мария Мануэла по решению своего руководства последовала за ним. При её помощи был налажен надёжный и быстрый канал связи между эмигрантами и руководителями партии. Лишь один верный человек, который помогал ей в работе, знал, кто она на самом деле.

Она жила в Рио уже год, когда однажды вечером повстречала в Нитерое Антонио Бруно.

###### III

В объятиях поэта Мария Мануэла расцвела. Если в Коимбре она открыла для себя необходимость перестройки мира, то в Рио познала жизнь во всей её полноте. Та ночь, когда после долгой борьбы она оказалась на­конец в постели Бруно, стала для неё ошеломляющим откровением. Очень скоро Мария Мануэла превратилась в настоящую женщину — жаждущую и ненасытную. Она жадно навёрстывала упущенное и была счастлива.

Но Берта не покидала поле своей нелегальной деятельности и так же тщательно выполняла все задания, к которым сама прибавила ещё одно — личное. Мария Мануэла мечтала, чтобы лирический поэт Антонио Бруно отдал свой талант угнетённым массам, борющимся за преобразование мира. Она приводила ему в пример великого чилийца Пабло Неруду, чьи «Двадцать стихотворений о любви» вдохновили их на первый поцелуй.

Во время одного из их бесконечных споров Бруно показал ей статью, где критик, высоко оценив «ощущение Бразилии» в стихах поэта, всё же осуждал его за то, что он уклоняется от решения социальных проблем и не желает в этом «содрогающемся от конвульсий мире» выбрать четкую позицию. Статья была напечатана в последнем номере «Журнала для всех», тут же запрещенного цензурой, хотя редактор-издатель Алфаро Морейра был человек весьма влиятельный и со связями. Мария Мануэла полностью согласилась с автором статьи: Антонио Бруно не выполняет своего долга. Может быть, именно она, прекрасная португальская мятежница, заставила его произнести в Академии ту памятную речь о «хрустальной башне, в которой немыслимо оставаться во время войны».

Смеясь, Бруно пообещал написать целую книжку стихов на социальные темы, но обещания своего, разумеется, не выполнил. Совсем другие стихи вышли из-под его пера — стихи о любви, о не знающей границ страсти, о безумном менестреле, склонившемся к ногам прекрасной дамы, которая ради него рискует и состоянием, и добрым именем.

«Ничем я не рискую, — повторяла Мария Мануэла, — наш брак давно уже стал фикцией». Афонсо продолжал брать на содержание певичек: теперь пришел черед хорошенькой мулатки — исполнительницы самб в театрике на площади Тирадентеса. Мария Мануэла не завела себе любовника только потому, что ни один из поклонников, добивавшихся её внимания в гостиных и на посольских приемах, ей не нравился. Она была готова бросить мужа и навсегда связать свою жизнь с Бруно — променять богатство и положение на бедность и поэзию. Чтобы отговорить её от этого безумного шага, Бруно пришлось прибегнуть к политическим доводам: что скажут её руководители? Этот аргумент подействовал.

В пятьдесят четыре года Бруно был в расцвете сил, но уже предчувствовал скорую старость и понимал, что судьба сделала ему прощальный подарок, одарив любовью этой красивой и молодой, образованной и бесстрашной женщины. Тайком он пробовал писать те стихи, которых требовала от него Мария Мануэла, но ничего не получалось: гражданственность и пафос звучали натянуто и фальшиво. Единственным его произведением, в котором чувствовалась искренняя ненависть и ярость, отчаяние и надежда, тяжесть сжатого кулака и боль кровоточащего сердца, была «Песнь любви покоренному городу» — поэма, написанная как реквием оккупированно­му Парижу, звучавшая как призыв ко всем народам мира на борьбу с фашизмом, как освобождение всех покорённых городов, поэма Марии Мануэлы и Бруно. Мария Мануэла первая перепечатала её на машинке. Подпольщица под траурной вуалью, дама в чёрном сохранила «Песнь любви», и в миг величайшего уныния она в тысячах копий разошлась по Бразилии и Португалии, по Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау, где уже разгорались первые костры партизанской войны.

### БЕСЕДА АКАДЕМИКОВ ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОЖКУ

Старейшина Бразильской Академии Франселино Алмейда был весьма наблюдателен и потому немедленно заметил происшедшую с генералом Валдомиро Морейрой перемену. Сидя на диване рядышком с министром юстиции и председателем Верховного федерального суда Пайвой, он посматривал на стол, за которым академики перед началом еженедельного заседания (первого после смерти полковника Перейры) пили чай, кофе или фруктовый сок, ели пирожные и пирожки. Дипломат вполголоса делился с министром своими наблюдениями.

— Обрати внимание, он стал совсем другим. Что-то в нём изменилось. Он по-другому здоровается, по-другому прощается, по-другому говорит с нами. Раньше был эта­кий пришибленный почитатель — приятно вспомнить... А теперь вон как распрямился, даже напыжился. Прямо скажем, полковник подгадал умереть к сроку, заявления больше не принимают: генерал остался единственным претендентом. Путь ему расчищен, дорожка укатана.

— А если бы Перейра не умер, за кого бы ты стал голосовать?

— Ей-богу, не знаю. С полковником шутки были плохи... А у генерала тоже заручка... Может быть, я и совершил бы оплошность...

Маленький, худенький министр, прищурившись как бы от яркого света, спросил:

— Признавайся, Франселино, может быть, дело тут не в заручке, а просто в ручке?..

— Ты угадал. Божественные ручки! — многозначительно щёлкнул языком дипломат.

— Может быть, мы с тобой имеем в виду одни и те же ручки?

— Как? И ты туда же? Ты, на которого покойник возлагал такие надежды? И ты дрогнул перед секре­таршей?

— Какой ещё секретаршей?

— У генерала Морейры есть секретарша — очень скромная, робкая, застенчивая. Я уверен, что она де­вица...

— Про секретаршу я ничего не знаю. Неужели, чтобы завоевать твой голос, генерал пустил в ход чары своей секретарши? Меня поражает его успех у женщин. Что в нём такого уж особенного?

— Ну а тебя кто пленил?

— Кому ж меня пленить, как не этому милому демону по имени Мария-Жоан.

— Актриса?

— Да. Она очень быстро покончила с моими сомнениями: я тут же сообразил, за кого мне голосовать. Ты меня понимаешь?

Оба старичка добродушно и весело рассмеялись. Министр добавил:

— Да, заручки у генерала Морейры — дай бог!

— Смерть полковника решила все проблемы. Но ты взгляни только — каков Морейра! Теперь он совсем не похож на того бедного просителя, который наносил мне визит. Впрочем, если судить по корзине с портвейнами и бисквитами, он далеко не беден.

— Нет, нет, он живет на одну пенсию. Кроме дома, купленного ценой жесточайшей экономии, у него ничего нет. Думаю, что на твою корзину он истратил многомесячные сбережения.

— Откуда это ты всё про него знаешь?

— От Марии-Жоан, разумеется. Эта бесовка прожужжала мне все уши о достоинствах и добродетелях бедного, но честного генерала.

— Что-то плохо верится. Наши вояки, как правило, — люди бережливые, довольствуются законной супругой, много не тратят, копят да откладывают на чёрный день. Корзина, которую он мне прислал, стоит немалых денег.

— Он, кстати, уже бывал на наших чаепитиях? На лекциях в актовом зале я его видел постоянно, а здесь он мне что-то не попадался.

— Как-то раз Родриго его приводил. Он был сам не свой от смущения: едва притронулся к кофе. А сегодня явился по собственной инициативе — видишь, какой у него отменный аппетит?

О чём-то громогласно рассуждая, за столом сидел генерал Валдомиро Морейра, пил чашку за чашкой кофе с молоком, наносил изрядный ущерб пирожкам. Несведущий человек никогда бы не подумал, что это не член Бразильской Академии, а всего лишь претендент... Бон­виван Пайва вновь заговорил на приятную тему — о женщинах:

— Между нами, этот Родриго — большой молодец. Дочка генерала Морейры просто восхитительна. Куколка...

— Ты секретаршу его не видал! Мулатка!.. Нечто божественное.

— Мулатка? — Томные глаза министра широко раскрылись. — Тебе повезло.

Эта беседа происходила перед началом заседания, на котором президент Академии должен был сообщить о кончине полковника Перейры: теперь на место среди «бессмертных» претендовал только один человек — генерал Валдомиро Морейра. Лизандро Лейте произнёс речь памяти полковника, которая была занесена в протокол.

А сам генерал, после начала заседания оставшись за столом в одиночестве, проглотил последний пирожок и задумался над тем, как много на свете дурацких правил и установлений: ведь он — несомненный академик, и место его — в зале заседаний, вместе с другими «бессмертными»... В подобных случаях незачем слепо повиноваться тому параграфу академического устава — в основе своей, конечно, верного, — который запрещает посторонним присутствовать на заседаниях. Не должно быть правил без исключений.

### ПОБЕЖДЁННЫЙ

Лизандро Лейте был единственным из членов Академии и одним из немногих штатских, кто проводил в последний путь полковника Перейру. Возвращаясь с похорон любезного друга Агналдо, наводившего на всех такой ужас, он ясно сознавал, что проиграл. Хуже, чем проиграл, — он вообще остался без кандидата. Выборы в Академию, сулившие ему так много, кончились катастрофой. Дома он обнаружил у себя на столе газету с пространным сообщением о «кончине видного представи­теля вооруженных сил и прославленного писателя, собиравшегося баллотироваться в Бразильскую Академию». На полях было приписано красным карандашом: «Поздно спохватился!» Несносная Пру!

Несколько дней Лизандро был хмур, озабочен и молчалив. После заседания в Академии он рассказал жене:

— Мой долг перед покойным исполнен. Я произнес речь о его заслугах. Портела, Эвандро, Фигейредо и прочие хихикают по углам — рады, что я споткнулся. Торжествуют. Генерал просто сияет от счастья. Явился на чаепитие. Что ж, одним — пироги да пышки, другим — синяки да шишки. Всё пропало. Столько труда — и впустую! А тут ещё Пру...

— Оставь ты Пру в покое и не горюй так...

— Я рассчитывал на пост председателя Верховного суда...

— Ты его займёшь, я совершенно уверена!

— В наше время, Мариусия, никто ничего задаром не делает. Придётся всё начинать сначала.

— Ты добьешься своего, Лизандро, я ни минуты не сомневаюсь. Не вешай носа! Я тебя не узнаю!

— Нужно дождаться, когда Персио всё же решит умереть. Он словно железный — врачи давно уж его похоронили, а он всё живет. Как только освободится вакансия, я выдвину кандидатуру Раула Лимейры — он близкий друг Самого... — Лизандро имел в виду главу правительства. — Если и Пайва примет участие в этом деле — может, и выгорит.

— Ну вот видишь?! Надо только уметь ждать: всё придёт в своё время.

Мысли Лизандро приняли другое направление:

— Очень бы мне хотелось знать...

— Что, милый?

— Что всё-таки произошло, когда Агналдо явился к Менезесу с визитом? Мы договорились, что он сразу же мне позвонит и всё расскажет. А он не позвонил... Я, как ни старался, не смог с ним связаться. Дона Эрминия сказала, что письмо Персио в Академию среди бумаг покойного не обнаружено.

— Что теперь толковать! Забудь об этом. А я тебе скажу, что убеждена: рано или поздно мой муж станет председателем Верховного федерального суда.

— А я убежден только в одном: я тебя не стою!

— Дурачок!

Так откуда же это честолюбие, снедающее Лизандро? Не от доны Мариусии ли, такой безмятежно спокойной и счастливой?

### ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Партизанская война на площади Кастело, где размещалась Бразильская Академия, началась в тот самый миг, когда возмущенный Эвандро Нунес дос Сантос, сняв пенсне, обменялся тревожно-многозначительным взглядом с пораженным Афранио Портелой. Это было в четверг — спустя неделю после заседания, на котором президент Эрмано де Кармо сообщил академикам о кончине полковника Перейры. До выборов оставалось полтора месяца.

Нет! Напрасно недобросовестные и небрежные историки стараются уверить нас в том, что второй этап военных действий начался прямо на похоронах полковника Перейры. Между драматическим окончанием битвы при Малом Трианоне и вербовкой новых волонтеров был перерыв. Он продолжался чуть больше недели — и многие подумали тогда, что вот и воцарилась тишь да гладь да божья благодать. Тот, кто поспешил поверить в это, не учёл переменчивости человеческой натуры.

За короткое время (от того заседания, на котором наблюдательный Франселино Алмейда заметил первые изменения в генерале Морейре, оставшемся единственным претендентом, и до следующего четверга) эти неопределённые признаки превратились в несомненную и грозную реальность — «отвратительную реальность», добавлял Эвандро, — заставившую двух франкофилов устроить тайное собрание. Оно имело место сразу же после очередно­го заседания, на котором академики со свойственной им любезностью к оппоненту обсуждали проект новых правил правописания, внесённый на их рассмотрение Лиссабонской Академией наук.

### БЫВШИЙ БУДУЩИЙ МИНИСТР

Едва войдя в комнату, где происходило традиционное чаепитие, каждый мог убедиться своими глазами, что генерал Валдомиро Морейра, хоть и не расстался ещё с генеральскими погонами, уже надел расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир академика. Всего две недели назад он, маломощный соперник грозного претендента, сорвал со своих погон генеральские звезды, превратившись в рядового и заурядного солдата-новобранца: он вытягивал руки по швам, повстречав кого-либо из «бессмертных», он смотрел им в рот, боясь пропустить хоть слово, он с одинаковым жаром восторгался самыми полярными концепциями, хоть они зачастую противоречили его собственным взглядам. Во время протокольных визи­тов и ему пришлось покушать жаб со змеями. В приготовлении этого блюда отличился старый Эвандро — он подарил кандидату свою нашумевшую книгу «Милитаризм в Латинской Америке», где утверждал, что во всех бедах этого континента — в отсталости, нестабильности и зависимости от Англии, Соединенных Штатов, Герма­нии — виноваты военные. Принимая кандидата, бестактный старик повторил свои обвинения вооруженным силам, — обвинения на грани оскорбления. Генерал слушал его молча и возражать не осмелился.

И вдруг всё изменилось. Две недели назад, после того как Афранио Портела и Родриго Инасио подсчитали голоса, он лег спать побежденным, а наутро проснулся победителем — единственным претендентом. Соперник приказал долго жить. Кончилась эра унижения и змей с жабами.

Валдомиро Морейра вернулся в своё прежнее качество, но теперь вместе с многозвездными погонами, пуговицами и орденами его генеральского мундира сияли не­стерпимым блеском и пальмовые ветви мундира академического (этому нисколько не мешало то обстоятельство, что он по-прежнему носил дурно сшитую тройку из синего кашемира). В преддверии бессмертия генерал появлялся на традиционных академических чаепитиях, фамильярничал с будущими коллегами, изрекал истины, оспаривал авторитеты. Суровая диета, на которую по совету врача посадила его дона Консейсан, весьма способствовала волчьему аппетиту, и генерал, ускользнув от недреманного ока жены, набрасывался за обильным и изысканным академическим столом на разнообразную снедь. Он наконец-то смог наесться досыта.

Итак, генерал Морейра, обуреваемый тщеславием, во второй раз в жизни пошел в атаку: захватывал позиции и отдавал приказания, но только слишком рано сбросил он тягостную маску смирения, представ перед всеми таким, каким сотворили его господь бог и военная служба, — надменным и властным.

В те времена, когда Армандо Салес де Оливейра выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии, генералу прочили место в его кабинете: в случае победы Морейра получил бы портфель военного ми­нистра.

Генерал в победе Оливейры не сомневался ни минуты: всему свету известно, что его соперник, писатель Жозе Америке де Алмейда, хоть и кичится званием «официального кандидата», рассчитывать на поддержку режима не может: правительство оставило его на произвол судьбы. Смешно и думать, что неотёсанный сертанец, представитель замученных трудом, голодных, малограмот­ных жителей штата Параиба одолеет Оливейру, за которым стоят кофейные плантаторы и неизвестно откуда вынырнувшие промышленники с итальянскими фамилиями, кандидатуру которого выдвинул самый богатый, цивилизованный и передовой штат — Сан-Пауло. На митингах ораторы любили уподоблять этот штат мощному локомотиву, везущему пустые вагоны — остальные штаты страны.

Да, генерал был уверен в победе и в том, что его ждет пост министра — и не какого-нибудь там министра просвещения или общественных работ, а почетный, ответственный пост военного министра, второго человека в государстве, который подчиняется одному президенту.

Генерала с набитым документами портфелем часто видели в те дни в министерстве. Он появлялся там и перед самым переворотом, провозгласившим Бразилию Новым государством. Генерал ходил по управлениям, отделам и штабам, собирая материалы, которые должны были пригодиться ему на его новом посту. Он формировал и укомплектовывал, назначал, смещал, производил и представлял — пока только на бумаге. С невероятной шумихой гражданам сообщалось о намеченном к выполнению и подлежащем реорганизации. Дело дошло до того, что генерал предложил нескольким офицерам весьма ответственные должности.

Армандо Салес де Оливейра остро нуждался в поддержке вооруженных сил, и очень может быть, что вначале он и вправду подумывал о назначении генерала Морейры, в преданности которого не сомневался, на этот высокий пост. Но даже если бы ему чудом и представилась возможность ввести генерала в состав своего кабинета, он бы этого не сделал, потому что разочаровался в нём ещё до того, как ноябрьский переворот 1937 года развеял в прах мечты и надежды всех тех, кто всерьёз принимал участие в предвыборной борьбе Оливейры и Алмейды. Разумеется, преданность генерала без награды бы не осталась: ему подыскали бы какую-нибудь синекуру, вроде должности военного атташе в Париже — самое подходящее место для человека, с отличием окончившего французскую военную академию: во-первых, почетно, во-вторых, не связано с командованием, и, в-третьих, находится за океаном. Генерал Морейра страдал не только самомнением и отсутствием гибкости, но был ещё и невероятным занудой.

...Послушав за чашкой чая, как Энрике Андраде жалуется президенту, что секретариат Академии пересылает ему корреспонденцию с большим опозданием, генерал Морейра вдруг заявил звучно и громогласно:

— Да, нашу Академию надо бы немножко подтянуть! В секретариат придется принять на службу хотя бы одного военного — пусть наведёт железный воинский по­рядок!

Порядок? Последовало долгое молчание, а старый Эвандро Нунес дос Сантос обменялся с Афранио Портелой взглядом тревожным и многозначительным.

### ЗАГОВОРЩИКИ

Не вызывает удивления, что историки неправильно датируют начало партизанской войны, которую повел Эвандро Нунес дос Сантос, — все решения принимались в обстановке строжайшей секретности, все заговорщики действовали с чрезвычайной осторожностью. Если бы на месте престарелых либералов-литераторов были подпольщики с многолетним опытом нелегальной борьбы, им не удалось бы работать более эффективно и скрытно.

Для тайных бесед не было места лучше, чем в автомобиле Портелы. Шофёр Аурелио Содре служил у местре Афранио и доны Розариньи больше двадцати пяти лет, он заслуживал полного доверия и, сидя за рулем, молчал как рыба.

В тот день Портела отвозил Эвандро домой. Старик всю дорогу возмущенно ворчал себе под нос, и местре Афранио наконец не выдержал:

— Чего бы ты хотел? Чтобы в Академию избрали Сампайо Перейру? Генерал — просто-напросто бездарность, а полковник был нацистом.

— Если бы твой Морейра был просто бездарностью, я бы слова не сказал: мало ли их у нас. Но он самодур! Помнишь, что я тебе говорил: твои игры с военными плохо кончатся. — Эвандро рассвирепел ещё больше. — Место Бруно в Академии может наследовать только Фелисиано.

— Я согласен. Вспомни, однако, в каком тупике мы оказались. Генерал был для нас единственным выходом. А теперь надо смириться и запастись терпением.

— Вот сам и смиряйся. А моё терпение лопнуло!

— Что ты можешь сделать? Морейра — единственный кандидат.

— Эка важность — «единственный кандидат»!.. До выборов ещё больше месяца.

— Ты... ты хочешь? — Местре Афранио в крайнем удивлении воззрился на разъяренного кума: всё это начинало его забавлять.

— Да, хочу! Я не стану голосовать за него!

— Но вспомни, Эвандро, мы явились к нему домой, мы его пригласили, мы настаивали, чтобы он баллотировался. Мы читали и расхваливали его книги. А теперь вдруг... Так порядочные люди не поступают...

— Во-первых, к нему домой ты меня притащил силком. Во-вторых, я не прочел ни единой строчки, сочи­ненной этим господином, — бог упас! — Эвандро стал загибать пальцы. — В-третьих, я его хвалил, только чтобы не подводить тебя. А в-четвертых, я не порядочный человек. — Он снял пенсне и протер стекла. — И ты тоже! Если бы ты мог видеть свою физиономию в тот момент, когда до небес превозносил генеральский бред!

Местре Портела тихонько хихикал. Эвандро продолжал:

— Мне тут попалась изданная в США книга о гражданской войне в Испании... Так вот, во время битвы за Мадрид хрупкая женщина с распущенными волосами — ее звали Пасионария: это имя всё объясняет — не знаю точно, коммунистка или анархистка, — провозгласила лозунг, с которым республиканцы шли навстречу войскам фалангистов: «Они не пройдут!» Этот лозунг мне подхо­дит. А ты волен поступать как знаешь! Можешь оставаться порядочным человеком, считать меня негодяем, говорить, что это я позвал «Линию Мажино»...

— Эвандро, опомнись! Эту кличку придумал полковник Перейра.

— Мне нет дела, кто её придумал! Я её услышал от Жозе Ливио, и она мне понравилась! Впрочем, Ливио идиот... Неважно... Главное то, что я профессор гражданского права по специальности и демократ по убеждениям, а потому с солдафонами дела иметь не желаю! Я в армии никогда не служил — и вообще призыву не подлежу!

Глаза местре Афранио лукаво сверкнули:

— Не забудь, кум Эвандро, что ты можешь не только оставить чистый бюллетень, но и попросту воздержаться от голосования. — Он хлопнул друга по костлявому колену. — Маленькая партизанская диверсия никому не повредит...

— То есть?

— Я прирождённый партизан и поступаю в твое распоряжение. — Он на минуту задумался. — Сейчас самое главное — секретность. Враг ничего не должен заподозрить: пусть генерал считает себя уже избранным. Чем уверенней будет он себя чувствовать, тем больше глупостей натворит.

Машина затормозила у сада, окружавшего дом Эвандро. Аурелио вылез и распахнул перед академиком дверцу. Увидев их, Изабел закричала, зовя брата:

— Педро! Педро! Дедушка приехал! И дядя Афранио!

После смерти полковника внуки Эвандро ещё не виделись со старым другом семьи, крестным их отца, покойного Алваро. Изабел расцеловала стариков.

— Я говорила, я говорила, что все кончится хорошо.

— Ничего ещё не кончилось, красавица ты моя. Мы снова решили препоясать чресла.

Подбежавший Педро спросил:

— Что это значит?

— Позвольте представиться: этот старый упрямец Дон-Кихот, а я — его верный оруженосец Санчо Панса. Мы отправляемся в новый поход.

— А кто же Дульсинея? Кого вы будете защищать?

Старый Эвандро Нунес дос Сантос привлек внуков к себе — это они заставили его решиться на борьбу с на­цистом Перейрой. Прокуренный голос дрогнул от вол­нения:

— Мы будем защищать ту же даму, что и рыцарь из Ла-Манчи: свободу!

Звезды зажглись над домом. Наступил вечер.

### СЕКРЕТАРША УВОЛЕНА

Афранио послал Розе букет и записку, в которой извещал, что будет ждать её в кафе. И вот подъехал автомобиль. За рулем сидел шофер в форменном кепи и тужурке.

— Ты всё хорошеешь... — Афранио сумел удержаться от вопроса, кому принадлежит автомобиль. — Я решил освободить тебя от секретарских обязанностей.

— Я как узнала о смерти полковника, сразу подумала, что больше не понадоблюсь. Никогда ничьей смерти не радовалась, а Перейру не жалею. Я места не находила, когда думала о том, что этот гад будет расхваливать Бруно на все лады, поганить своим языком имя моего любимого...

— От полковника бог нас избавил, теперь надо избавиться от генерала.

— От генерала? Но ведь вы ему помогали! Для чего ж тогда вся эта история с секретаршей? Я добилась у Линдиньо обещания голосовать за него...

— У кого?

— У Франселино Алмейды: он хочет, чтобы я называла его Линдиньо.

Местре Портела рассказал Розе о случившихся с генералом превращениях, о том, как происходят выборы в Академию, о том, что можно воздержаться при голосовании или оставить бюллетень незаполненным.

— Так что же, я уволена? Это очень кстати. Линдиньо с ножом к горлу пристает ко мне, чтобы я выпила бокал шампанского у него дома. Про пощипывания и поглаживания я уж не говорю. Хорошо, у меня кожа смуглая и синяки незаметны. А то...

Местре Афранио оценил класс автомобиля, ожидавшего Розу: женщины, любившие Антонио Бруно, созданы, чтобы поражать и сбивать с толку. Тут он не выдержал:

— А то что?

Перехватив устремленный на дорогую машину взгляд академика, Роза улыбнулась:

— А то плохо бы мне было. Вы его знаете: это ваш приятель... — Она назвала имя богатого текстильного фабриканта, португальца по происхождению. — Он хочет открыть мне мастерскую на улице Розарио: буду хозяйкой.

— А куда денется его аргентинка?

— Она вернулась в Буэнос-Айрес. Когда мой португалец овдовел, она во что бы то ни стала хотела его окрутить. А он — ни в какую.

— Она хороша собой; спору нет, но голос её действует на меня, как касторка. Senora Delia Pilar, can­tante de tangos[[22]](#footnote-22), — передразнил он аргентинский акцент. — Не слыхал певицы хуже.

— Моя бывшая хозяйка, мадам Пик, послала меня к ней примерить платья. Вот там я и познакомилась с моим нынешним... покровителем.

— Его можно только поздравить, что я и сделаю при встрече. Избавился от такой злыдни, а взамен сорвал самую прекрасную розу в Рио. Я и тебя поздравляю. Он человек добрый и порядочный.

— Знаю. Ему нужно только немножко нежности. Думаю, что нам будет хорошо вместе. На нежность и на уважение он вправе рассчитывать. — Её пухлые губы тронула легкая усмешка; в голосе послышалась горделивая печаль. — В моей жизни уже была любовь — теперь мне стоит только вспомнить о ней, и я счастлива... Итак, местре Портела, я могу считать себя свободной?

— Да. Я хочу лишь кое-что уточнить. Скажи, Франселино знает твой адрес? Как вы уславливаетесь о встрече? По телефону?

— Он думает, что я живу в пансионе при женском монастыре и к девяти вечера должна возвращаться туда. Приехала я из провинции — генерал опекает меня в память моего отца, который был у него ординарцем. Я много чего ему наврала: дала телефон моего ателье; мадам Пик в курсе дела, сказала, что всё это очень забавно, и вызвалась помогать. Линдиньо всегда звонит во время обеда и думает, что разговаривает с монахиней-француженкой. Он представляется как мой дядя. Обхохочешься. Для него я Беатрис, Биа. Милый старичок, только очень щиплется.

— Вот что надо будет сделать. Пусть мадам Пик скажет Франселино, что ты больше не хочешь с ним видеться и чтобы он тебя не искал. Она должна дать ему понять, что это отнюдь не пансион для девиц, а нечто совсем-совсем другое. Пусть намекнет, что бесплатные удовольствия кончились...

— И что он при этом должен вообразить?

— Да ничего конкретного. Надо создать атмосферу сомнительного заведения...

— А-а, тогда он разозлится на моего бывшего патрона!

— И не станет за него голосовать.

— Бедненький Линдиньо. До чего ж неугомонный старичок! Чуть зазеваешься, он тут же задирает тебе юбку или лезет за пазуху. Могу себе представить, каков он был в молодости...

— Слава о нём до сих пор гремит по всей Японии и Скандинавии.

— Он очень милый, правда? Ужасно любит рассказывать неприличные анекдоты...

— Помнишь, Роза, когда-то я написал про тебя рассказ. Теперь, пожалуй, ты можешь стать героиней целого романа. Раньше я знал, что ты удивительно кроткое и нежное существо, теперь, помимо кротости и нежности, я вижу твою отвагу, мужество, храбрость.

— Это Антонио сделал меня такой. Он создал меня заново.

Афранио Портела вспомнил стихи: «Медная роза, медовая роза, юная роза-бутон» — и поцеловал ей руку:

— Роза Антонио Бруно.

### ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАСПРИ

— Читали? — Фигейредо Жуниор протянул президенту экземпляр «Коррейо до Рио». — Я специально приехал сюда, чтобы показать. — Он ткнул пальцем в колонку под рубрикой «В защиту португальского языка», в которой генерал Валдомиро Морейра просвещал невежд насчет того, как писать на безупречном и чистом лузитанском наречии.

— Нет, ещё не читал. Поскольку автор не является членом Академии (хоть он и убежден в обратном), него статьи читать не обязан. Могу целый месяц спать спокойно, а потом уж придётся взваливать на себя и эту ношу, как будто у меня мало других забот...

— Нет, вы просто обязаны прочесть эту статью, и как раз потому, что её автор ещё не избран в Академию.

Эрмано де Кармо взял протянутую ему газету.

— Раз уж вы так настаиваете, милый Фигейредо... — Он начал читать, но тут же поднял голову. — Н-да, нечего сказать, удружили вы нам с кандидатом. Хотели противопоставить его тому, кого так вовремя прибрал господь... Это была единственная любезность со стороны полковника... — Он продолжил чтение. — Боже мой, сколько пафоса!

Президент, чья вошедшая в поговорку вежливость ещё усилилась от пребывания на посту, требующем такта и обходительности, крайне редко позволял себе неуважительные отзывы о собрате-академике или о простом смертном. Но бесцеремонность генерала Морейры, не считавшего нужным дождаться своего избрания для того, чтобы поучать и публично критиковать Академию, сильнейшим образом раздражала его. Генерал во всеуслышание порицал позицию большой группы бразильских академиков, входивших совместно с учеными из Лиссабонской Академии наук в Смешанную Комиссию по вопросам орфографии. Бразильские представители сами ещё не пришли к общему решению, что сильно осложняло работу.

— Это что-то невероятное!.. Раньше не было человека более скромного и предупредительного, даже подобострастного. И вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов. Стал единственным претендентом и задрал нос. Не пропускает ни одного чаепития, говорит много и громко, рассуждает, поучает, критикует. На днях взял меня под руку и прочел целую лекцию о живописи. Сообщил мне, что мы, видите ли, не те картины развешиваем в Академии: пренебрегаем, дескать, полотнами первоклассных художников и отдаем предпочтение, как он выразился, пачкунам. Какая наглость, Фигейредо! — Президент дочитал наконец статью и добавил: — Ему бы баллотироваться не к нам, а в Лиссабонскую Академию наук.

Члены Бразильской Академии, входившие в состав Смешанной Комиссии — среди них был и Фигейредо, — утверждали, что необходимо принимать в расчет воздействие живой народной речи на литературную норму языка. Они возражали своим лиссабонским коллегам, которые защищали незыблемые каноны, годные, быть может, для португальцев, но неприемлемые для бразильцев. Португальцы призывали к выработке единых и жестких грамматических норм — Фигейредо же говорил, что единая языковая норма для двух совершенно различных стран — это культурный колониализм. Впрочем, дебаты по этому острому и жгучему вопросу вели между собой и члены каждой делегации.

А вот генерал Морейра в своей очередной статье безоговорочно стал на сторону самых ортодоксальных португальцев и категорически заявил, что Бразильская Академия должна согласиться с ними, и не просто согласиться, а «огнём и железом пресекать всякую попытку модифицировать язык Камоэнса». Отвечая на вопрос мифического читателя, генерал подверг суровой критике тех, кто своими уступками негодяям, профанирующим португальский язык, позволил Академии забыть важнейший и священный долг — «сохранение последнего цветка латинской цивилизации во всей его неприкосновенности». В конце статьи он сообщал, что в ближайшее время примет самое непосредственное участие в дискуссии и грудью станет против вредных компромиссов. Генерал был нетерпелив: когда-то он раньше срока объявил себя военным министром — теперь же ещё до выборов говорил от лица «бессмертных».

— Замечательно! — сказал Фигейредо. — Вот повезло! Мало нам было пуриста Алкантары, который не даёт делегации выработать единую точку зрения...

— Ваш генерал слишком ретив. Прежде чем печатно ругать Академию, хорошо бы сначала стать её членом.

— Почему этот негодяй полковник так не вовремя отдал богу душу? Приём заявлений прекращен. Что те­перь делать?

— Вы эту кашу заварили, вам и расхлёбывать. Если сможете, конечно, — сказал президент и добавил словно бы невзначай, просто для сведения собеседника: — У Эвандро, судя по всему, имеются какие-то мысли на этот счет. Поговорите с ним.

### КОМИССИЯ РАСПУЩЕНА

Фигейредо последовал совету президента. Он не только отыскал Эвандро Нунеса, но и пригласил к себе всех членов той делегации, которая три месяца назад посетила генерала Валдомиро Морейру и предложила ему баллотироваться в члены Бразильской Академии.

Выставив на стол напитки и кое-какие закуски, Фигейредо прочёл присутствующим оскорбительную генеральскую статью и попросил высказаться по этому поводу.

Эвандро уже ознакомился со статьёй. Больше того — он перепечатал её в нескольких экземплярах и роздал тем академикам, которые в дискуссии о языковых нормах занимали ортодоксально-бразильскую позицию. Затем он изложил решение, принятое им и Афранио Портелой по поводу кандидатуры генерала. «Мы пригрели на груди змею», — в свойственной ему энергической манере завершил он своё выступление.

— Что ж, воевать нам не впервой, — сказал Портела. — Начнём, уподобившись французским макиярам, партизанские действия. Мы с Эвандро уже кое-что предприняли, но ещё не успели вам сообщить. Действуем не зарываясь и в обстановке строжайшей секретности.

— Я ничего не знал! — сказал Родриго.

— Что ж вы сразу не сказали? — обиделся Фигейредо.

— А я, несмотря на всю вашу секретность, что-то учуял, — признался Энрике Андраде. — Пайва совершенно сбит с толку. Наша божественная Мария-Жоан целый месяц уговаривала его проголосовать за генерала, а потом вдруг стала просить, чтобы он оставил чистый бюллетень. Я сразу понял, что к этому делу приложил руку местре Портела.

Обсудили ситуацию. Поскольку генерал Морейра единогласно признан присутствующими надменным, нетерпимым и занудливым солдафоном, который намерен превратить Бразильскую Академию в казарму, а академиков — в вымуштрованных рядовых, то предложение начать партизанскую войну принято единогласно. «Комитет пяти» самораспустился.

Энрике Андраде попросил извинить его. В других обстоятельствах он с большим удовольствием примкнул бы к тем, кто желает воспрепятствовать проникновению бесталанного генерала в Академию. Но страной правит диктатура Нового государства, и в этой политической ситуации демократы, по его мнению, просто обязаны объединиться со всеми, кто так или иначе способен эту ситуацию изменить. Генерал Морейра хоть и в отставке и не у дел, однако не перестал быть фигурой заметной и значительной. Во время предвыборной борьбы уважаемые собратья беседовали, обменивались мнениями, разрабатывали планы. Он, Энрике, своего мнения никому не навязывал, но именно поэтому не желает его переменить. Ему решительно плевать на то, победит ли генерал на выборах в Академию или провалится, но способствовать последнему он не собирается, поскольку связан с кандидатом политическим договором. Каков бы ни был результат выборов, он не хочет портить с генералом отношения. Короче говоря, в день выборов он будет в Баие, а перед отъездом вручит претенденту письмо и свой голос.

Родриго Инасио Фильо тоже пошел на попятный. Ему бы очень-очень хотелось принять участие в партизанской войне — битва при Малом Трианоне произвела на него неизгладимое впечатление: когда-нибудь он подробно опишет эти события в очередном томе своих «Записок постороннего». Но по ряду причин ему придется отказаться от новых сражений... Причины эти несколько иного свойства, чем у Энрике, они... э-э... носят, скорее, личный характер, но всё равно заслуживают уважения.

— Всё ясно: дела постельные... — понимающе и лукаво захохотал местре Портела. — Все вы, дворяне, одинаковы! Вольно! Разойдись!

Ну а Фигейредо Жуниор желал как можно скорее ринуться в бой. Узнав о том, что именно уже предприняли заговорщики, он возликовал.

### НЕДОСТОЙНЫЕ ДЕЯНИЯ КАНДИДАТА В ИЗЛОЖЕНИИ АФРАНИО ПОРТЕЛЫ

На следующее утро местре Афранио специально пришел в Академию пораньше. У казначея он встретил Франселино Алмейду. Расписавшись в ведомости и получив тощий конвертик с платой за присутствие на заседаниях — так называемый «жетон», — академики направились к шкафу, в ящиках которого хранилась корреспонденция, предназначенная для сорока «бессмертных».

— Вы чем-то удручены, Франселино? Нездоровится? В наши годы надо беречься.

— Я прекрасно себя чувствую.

— Тогда в чем же дело? — наседал Афранио, обеспокоенный понурым видом коллеги и друга.

— Да так... неприятности.

Они забрали письма и снова спустились в приёмную, Там романист увлек дипломата к окну и стал расспрашивать:

— Что же вас заботит?

— Да вот хоть этот генерал... Он сильно изменился за последнее время, вы не находите?

Ожидаемое слово было произнесено, и Афранио приступил к делу:

— Я нахожу, что он слишком сильно изменился. Должен вам признаться, Франселино, что я разочаровался в нём. — Портела понизил голос. — Вы, должно быть, поняли, что сначала я решил поддержать его кандидатуру, переговорил с друзьями...

— Да, наслышан...

— Но потом узнал о некоторых его... э-э... неблаговидных, скажем так, поступках. И полностью изменил свое мнение. Скажу вам по секрету, Франселино, я решил голосовать «против», Тс-с, только бы до него не дошло...

Старейшина Академии выказал к этому сообщению живейший интерес:

— Неблаговидные поступки? В чем же они выразились?

— Сейчас расскажу. У меня есть одна старая знакомая — ещё со времён моей бурной молодости, Француженка. Она содержит заведеньице, ну, вы понимаете... Девицы у нее — одна к одной, никогда не угадаешь, чем они занимаются на самом деле. И вот на днях я её повстречал, и она рассказала мне совершенно невероятную историю. Представьте себе, генерал Морейра, её давний и постоянный клиент, нанял одну из девиц — свою любимицу, — чтобы она вербовала для него сторонников из числа членов нашей Академии. Она изображала его секретаршу и втёрлась в доверие к кому-то из наших с вами коллег.

Франселино сделался бледен:

— Невероятно! Каков негодяй!

— Можете себе вообразить, как веселилась мадам Пик, отвечая на телефонные звонки наших собратьев, которые разыскивали эту девицу. Она наплела им с три короба, сказала, что живет в пансионе при женском монастыре, а к телефону подходит сестра Пик, монахиня-француженка. Совершенное забвение морали!

— Заведеньице, вы сказали?.. Ага, ага... А генерал — постоянный клиент? Ах, негодяй! А Пайва ещё говорил, что он беден... Бедный, а прислал мне корзину от Рамоса...

— И мне тоже. И Эвандро, и Фигейредо.

— Где же он берёт деньги? Из каких средств оплачивает услуги этой... авантюристки? Откуда у него деньги на баснословно дорогие корзины — представляете, сколько они стоят?

Местре Афранио совсем понизил голос и зашептал на ухо дипломату, который как огня боялся оппозиции и славился своей лояльностью к режиму — каким бы этот режим ни был:

— Так вы не знаете, что генерал Морейра ближай­ший сподвижник и друг Армандо Салеса, один из тех, кто вкупе с интегралистами замышлял переворот тридцать восьмого? Генерал не примкнул к этому сброду лишь потому, что его в то время не было в Рио.

— Я слышал, что он был сторонником Армандо Салеса де Оливейры...

— Был и есть. Он один из самых упорных врагов нашего строя. Он для того и рвется в Академию, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За ним стоят люди Армандо Салеса — они снабжают его деньгами на предвыборные расходы. Друг мой: бисквиты, которые вы ели, пахнут мятежом!

— Генерал в Академии — это смертельная опасность!

— Сейчас он стал единственным кандидатом, а потому услугами этой девицы больше не пользуется и корзин не присылает. На мой взгляд, самое гнусное во всей этой истории — попытка использовать Бразильскую Академию в политических целях. Вы знаете, я сам не в восторге от нашего правительства, но в стенах Академии политикой не занимаются! Академия превыше всех заговоров и смут и должна оставаться таковой! Вот потому-то я и не стану голосовать за генерала.

— А я никогда и не собирался за него голосовать, — солгал Франселино с непринужденностью прожженного дипломата. — Я обещал поддержку полковнику Перейре. Ах, как вы правы, Афранио, — голосовать за генерала было бы полнейшим безрассудством... Хорошо, впрочем, что вы меня предупредили.

Один вопрос еще оставался невыясненным:

— Но почему же Мария-Жоан так хлопотала за него?

— А-а, это совсем другое дело! Мария-Жоан приходится жене генерала Морейры двоюродной сестрой — вот и старается по-родственному.

— Я очень благодарен вам, Афранио. Очень.

— Остерегайтесь генерала, друг мой! Он ни перед чем не остановится, если поймет, что вы раскусили его. Берите пример с меня: делайте вид, что всецело его поддерживаете. Будьте с ним приветливы и любезны. А уж когда придёт время опустить бюллетень в урну... Пусть попробует отгадать, кто именно проголосовал против!

### ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Ровно две недели после похорон полковника Перейры Лизандро Лейте ходил мрачный как туча. Однако после очередного заседания «бессмертных» он явился домой в превосходном настроении — уныние его исчезло бесследно. Дона Мариусия мгновенно заметила эту перемену:

— Что случилось? Почему ты так сияешь?

— Случилось нечто невероятно! Рассказали бы — не поверил! Но не верить нельзя, у меня есть доказательства. Те самые ловкачи — Портела и иже с ним, — которые выдвинули кандидатуру Морейры, теперь изо всех сил стараются свалить его. Я узнал удивительные вещи! На этот раз самый ретивый — старик Эвандро. Иначе как «Линия Мажино» он генерала не называет, а ведь этой кличкой наградил его покойник Перейра.

Лизандро сообщил жене подробности — двусмыслен­ные фразы, умело вырванные признания, неосторожные обмолвки, подслушанный разговор.

— Ну и что ж ты намерен делать? Голосовать за генерала?

Толстощекое лицо Лизандро осветилось широкой улыбкой.

— Зачем же мне голосовать за генерала? Я примкну к компании Портелы. Не исключено, что после этих выборов я все-таки окажусь в кресле председателя Верховного суда! Если генерала не выберут, если он не наберёт нужного числа голосов...

И он стал объяснять жене: если генерал не пройдет, он, Лизандро, получит полное право претендовать на место председателя, которое освобождается после выхода Пайвы на пенсию.

С одной стороны, могущественные и влиятельные сторонники покойного будут рады, если академики не примут в свои ряды известного оппозиционера и врага Нового государства. Разумеется, они не станут приписывать поражение генерала усилиям Афранио и Эвандро, а тут же с благодарностью подумают о нём, о Лизандро, а уж Лизандро постарается, чтобы все высокопоставленные лица, принимавшие участие в битве на стороне полковника, и прежде всего военный министр, узнали о его титанической деятельности, воспрепятствовавшей появлению заклятого врага режима в стенах Академии. Он, Лизандро, не допустил этого, он взял на себя труд охранить светлую память своего выдающегося друга, который ушёл от нас именно тогда, когда родина так нуждалась в нём.

С другой стороны, снова откроется вакансия, и можно будет попытаться провести в академики Раула Лимейру, ректора университета и ближайшего друга главы правительства. По образованию он врач и на высшие судейские должности не претендует. В этой тройной игре Лизандро может сорвать крупный куш. Получаешь, Раул, пальмовые ветви академического мундира — помоги мне надеть мантию председателя Верховного суда.

Дона Мариусия запустила свои тонкие холёные пальцы в неопрятную, всклокоченную гриву Лизандро:

— Помнишь, я говорила, чтобы ты не унывал?

Так был заключён странный союз между войсками Эвандро и силами Лизандро: новые добровольцы приняли участие в партизанской войне. Союз этот был, конечно, негласный, но обещал многое.

### МАКИ

Спасаясь от войны, французские интеллигенты всех направлений и убеждений нашли приют в Бразилии. Среди них были писатели, издатели, актеры и режиссеры, художники и журналисты. Самый известный — Жорж Бернанос — обосновался в Минас-Жерайс, остальные поселились в Рио или в Сан-Пауло. Они присоединились к знаменитым профессорам, которые в 1937 году возглавили кафедры в только что открытых университетах. Видное место среди этих профессоров занимал писатель и ученый Роже Бастид.

С помощью своих бразильских единомышленников они начали активно помогать силам французского сопро­тивления — «Свободной Франции», де Голлю и маки. Их деятельность не встречала одобрения со стороны правящих кругов, которые проводили политику сближения с третьим рейхом; ходили слухи, что Бразилия примкнет к антикоминтерновскому пакту; глава правительства в отсутствие своего министра иностранных дел вёл переговоры с германским послом, обсуждая пути укрепления идеологических и экономических связей, которые могли бы послужить основой для подписания договора. Несмотря на всё это, французские эмигранты, используя противоречия в кабинете министров и традиционную любовь бразильцев к Франции и французской культуре, сумели развернуть активную деятельность — она не была официально разрешена правительством, но и не подверглась прямому запрету. Полиция не спускала с французов глаз, однако до поры до времени не трогала их. Виднейшие представители политических, военных и литературных кругов — уже упомянутый министр иностранных дел Освалдо де Аранья, генерал Лейтан де Карвальо и, по слухам, даже дочь диктатора Алзира Варгас — всеми силами противились сближению с Гитлером и помогали немногочисленной, но энергичной группе патриотов, которые, живя вдали от своей покорённой родины, сражались за её свободу.

Ближе всех к ним стояли академики Эвандро Нунес дос Сантос, Алсеу де Аморозо Лима, Афранио Портела, Фигейредо Жуниор, поэты Мурило Мендес и Аугусто Фредерико Шмидт, артисты Прокопио Феррейра и Мария-Жоан, писатели Алваро Машадо и редактор литературного журнала «Дон Казмурро» Брисио де Абреу, проживший в Париже больше десяти лет.

Эти и другие антифашисты собрались у Эвандро по случаю приезда в Рио Роже Бастида — он намеревался читать лекции в столичном университете и завести новые знакомства. Двух ученых связывала крепкая дружба, основанная на взаимном восхищении. Эвандро собрал у себя друзей, чтобы сообща обсудить, как лучше помочь голлистским организациям и партизанам. Гостей принимала вместе с братом юная хозяйка дома Изабел, которая не в силах была скрыть гордость: ведь крестил её не кто иной, как Антонио Бруно.

Среди принятых решений одно заслуживает особого внимания, поскольку сулило несомненную выгоду и общественный резонанс. Мария-Жоан предложила возобновить спектакль по пьесе Бруно «Мери-Джон», премьера которого состоялась в 1922 году в театре Леополдо Фроэса. Сбор поступит в пользу «Свободной Франции», Единственное представление состоится в понедельник, когда все театры закрыты, и будет посвящено двадцатилетнему юбилею сценической деятельности Марии-Жоан, Предложение было принято с восторгом. Общее руководство и рекламу взяла на себя редакция «Дона Казмурро»; Алваро Морейра согласился обновить мизансцены, а Санта-Роза — декорации; Фигейредо Жуниор сочинит текст программы, Прокопио сыграет роль мнимой голли­вудской кинозвезды, — роль, которую в первой постановке исполнял сам Леополдо Фроэс. Кроме того, всем — и в первую очередь дамам — надлежит заняться распространением билетов по самой высокой цене.

Вечер удался: стол был роскошен, вина — высшего качества, собеседники блистали остроумием, Педро и Изабел радовали гостей по-детски непринужденным весельем. После серьезных разговоров приглашенные разбрелись по саду, наслаждаясь в раскаленной декабрьской ночи прохладным дуновением бриза. Местре Афранио, дона Розаринья и Мария-Жоан уселись на скамье под жакейрой.

— Как ты хорошо придумала, Мария-Жоан. — Дона Розаринья нежно гладит руку актрисы.

— Я очень многому научилась от Бруно. И любви к Франции — тоже. Ну а потом мне самой давно хотелось снова сыграть роль в пьесе, которую он написал специально для меня. Сегодня она может показаться наивной, но ведь стихи по-прежнему великолепны, правда? Вся беда в том, что я играла Мери-Джон, когда мне ещё не было двадцати, а сейчас мне скоро тридцать девять...

— Перестань. Больше тридцати тебе не дашь... — галантно замечает местре Афранио, и он недалек от истины.

— Я подумывала, не пригласить ли на эту роль кого-нибудь помоложе; но, признаюсь вам, мне ужасно, просто ужасно хочется сыграть её самой, заново прожить те дни. Мери-Джон — это я в девятнадцать лет. Вот только сойду ли я за девятнадцатилетнюю?

— Запросто! — отвечает дона Розаринья. — Я бы не стала тебя обманывать, если бы ты рисковала оказаться в смешном положении. Чуть больше грима, чем обычно, — и всё... — Она дружила с актрисой ещё со времён первой постановки «Мери-Джон».

Местре Афранио меняет тему разговора.

— Ну-с, как поживают наши избиратели? Как они отнеслись к tournaets de'histoire?[[23]](#footnote-23)

Под деревьями звенит смех Марии-Жоан.

— Ничего смешней в жизни своей не видела! Я добыла для этого генерала четыре голоса, не считая Пайву, а теперь всё надо порушить и повернуть в обратную сторону! Вы не представляете, как вытянулись лица у моих поклонников!..

— А как ты им объясняла свои хлопоты за генерала?

— Очень просто: голос крови — я двоюродная сестра и ближайшая подруга его жены.

— А задний ход?

— Пришлось сочинить целую историю, от которой поклонничков бросило в дрожь. Я чуть не плакала от возмущения, когда живописала гнусное поведение генерала. Он якобы собирался презреть узы брака, оставить на поругание семейный очаг и дружбу, заманить к себе и овладеть мною на супружеском ложе. Эта сцена сделала бы честь лучшему итальянскому драматургу: гене­рал пытается меня изнасиловать — я героически отбиваюсь. Еле-еле высвободившись, вся в синяках, запахивая разорванное платье, я убегаю, а генерал вслед кроет меня последними словами. Сцена имела потрясающий успех: у поклонников волосы встали дыбом. Все знают, что я ни разу в жизни не согласилась переспать с мужем подруги, какой бы он ни был.

Афранио Портела поднимает голову и ни с того ни с сего начинает любоваться звездным небом. Уж кто-кто, а он осведомлён о немногих, но суровых принципах Марии-Жоан. Однажды, через много лет после окончания её романа с Бруно, Афранио предложил взамен свою кан­дидатуру, по актриса поцеловала его и сказала как отрезала:

— Это невозможно, милый мой. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, но мы подруги с Розариньей. Это невозможно. И не настаивай, а то я вконец огорчусь.

...Налетевший с моря ветерок перебирает волосы великой актрисы.

— Поклоннички возмутились. Кто станет голосовать за такое чудовище? Бедный Морейра... Чем вдруг стал плох этот генерал?

— Он ничем не плох. Он генерал.

Приближается Фигейредо. В глазах у него алчный огонек.

— Мария, мы тут посоветовались с Алвиньо (имеет­ся в виду Алваро Морейра), кое-что придумали насчет спектакля...

Мария-Жоан встает и протягивает руку драматургу, который перевел пьесу Ибсена только для того, чтобы она сыграла Гедду Габлер:

— Пойдем, расскажешь...

Афранио долгим взглядом провожает их исчезающие во тьме силуэты. Очевидно, жена Фигейредо не принад­лежит к числу подруг Марии-Жоан... Сколько жизненной силы в этой женщине, родившейся в бедном предместье, ставшей Принцессой Карнавала, а потом великой актрисой, — она без устали пожинает лавры и коллекционирует любовников, она с каждым годом приумножает свою славу, свое богатство.

Местре Портела ничего не рассказал жене о своём намерении, потому что и сам не знал, хватит ли у него храбрости снова оказаться наедине с чистым листом бумаги. Но видение будущего романа всё больше обретает плоть в эту ночь — ночь заговорщиков, когда маки стали лагерем на холме Санта-Тереза в городе Рио-де-Жанейро.

### КЛО-КЛО И СЕМЬ-ПРЫЖКОВ

«Ох, ветер в голове! А всё-таки сердце у него доброе и справедливое», — подумал генерал Валдомиро Морейра, когда его дочь Сесилия оторвалась па минутку от радиоприемника, передававшего блюзы в исполнении Стелы Марис, и изрекла:

— Папа, когда ты будешь заправлять у себя в Академии, дай какую-нибудь премию Клодинору. Он за­служил.

— Ты права, он действительно достоин поощрения: предан, почтителен со старшими — даже не скажешь, что штатский.

Клодинор Сабенса и вправду служил генералу как исправный ординарец: ходил за ним по пятам, слушал лекции академиков и рассказы генерала о том, как прошли предвыборные визиты к академикам, считал и пере­считывал голоса — слава богу, теперь, после столь своевременной смерти полковника, это уже ни к чему.

Впрочем, и автор «Курса португальской грамматики» (1-й, 2-й и 3-й год обучения) несёт долю ответственности за то, что генерал избавился от грозною недруга. Клодинор увлекался спиритизмом и время от времени посещал макумбу, на которой полновластно царила тучная Матушка Гразиэла до Буноко, принимавшая среди других, менее значительных божеств могущественного демона, известного под именем Эшу-Семь-Прыжков, Эшу, творящего неописуемые злодеяния. Если по просьбе Матушки Буноко он вмешается в какое-нибудь дело — пиши пропало. Если речь идет о деньгах или о любви, о том, чтобы приворожить кого-нибудь или, наоборот, отвадить, о зависти или о сглазе, жрица обращается к демонам рангом пониже — к метису Курибоке, помогающему от всех недугов, или к Царице вод Иеманже, специ­альность которой — любовные дела, или к старому негру Ритасинио — он лучше всех разбирается в лотерее государственной и подпольной и вообще во всём, что касается денег. Эшу-Семь-Прыжков Матушка Гразиэла приберегает для неожиданных просьб, для трудных задач, которые требуют особо тщательной волшбы и самых надёжных амулетов.

Сабенса попросил, чтобы Семь-Прыжков закрыл пол­ковнику Перейре путь в Академию — работа предстояла трудная и стоила недешево. Проситель имел в виду лишь поражение на выборах: кровь жертвенных петухов и воск свечей должны были всего-навсего запереть перед полковником двери в Дом Машадо де Ассиза. Но рука у Эшу, как предупреждала Гразиэла и убедился Сабенса, была тяжелая, и полумерами он не ограничился. Полковник получил полной мерой и скончался.

Генерал Валдомиро Морейра, добрый католик, не поверил в этот вздор. Однако дона Консейсан и Сесилия не сомневались в могуществе Эшу ни минуты и выделили какую-то сумму на покупку кашасы и сигар для демона-благодетеля. Вздор или не вздор, но Сабенса заслужил благодарность.

— В будущем году я похлопочу о премии для него. За опубликованный сборник он сможет получить премию Жозе Вериссимо. — Генерал превосходно осведомлён о всех премиях Бразильской Академии.

— Лучше бы в этом году, папа. Это был бы чудный подарок Кло-кло к рождеству.

— Академическая премия — не рождественский подарок, глупая. Пусть не беспокоится, я позабочусь о нём. И чтоб я больше не слышал этого «Кло-кло»! Дурацкое прозвище! Клодинор Сабенса — молодой, но многообещаю­щий учёный.

— Папа, а когда ты пройдешь в академики, то станешь важной персоной, да? Там ведь всё тузы и шишки?

Воспользовавшись тем, что Сесилия наконец-то проявила хоть какой-то интерес к его академическим делам, генерал разоткровенничался: Бразильская Академия нуждается в обновлении; дело это долгое, потому что звание академика дается пожизненно. Последние выборы показали, что принципы, некогда определявшие отбор «бессмертных», нарушены. Раньше предпочтение отдавалось представителям высших слоев общества, а теперь — писателям, даже если они ничем, кроме литературного дарования, себя не проявили. Дошло до того, что в Академии не представлены вооруженные силы страны. Чудовищная нелепость! Нет, он вовсе не против того, чтобы писателей принимали в Академию, но надо же уметь отбирать достойных, а среди нынешних академиков есть такие, что не знают элементарных правил грамматики и губят португальский язык. А иные вообще не понимают, какие требования предъявляет мундир «бессмертного» к нравственности. Говоря без ложной скромности, пример правильного отбора в академики — это он, генерал Морейра: писатель, но не просто писатель, а представитель высшего офицерства. Генерал посмотрел на дочь, которая делила своё внимание между монологом отца и божественным пением Стелы Марис.

— Только не вздумай повторять то, что я тебе рассказал. Никому ни слова, поняла? И особенно академикам!

А вдруг она возьмет и передаст все это Родриго, когда они... Ох, ветреница! А всё-таки у него хорошая дочь: золотое сердце, справедливая душа!

### САЛАТ-ЛАТУК

Что ж, Морейра прав: сердце у Сесилии золотое. А как она щедра и великодушна к тем, кому вверяется безоглядно, всякий раз тщетно надеясь, что уж этому избраннику она не надоест!

Почему всегда происходит одно и то же? Знакомятся, загораются, влюбляются, ухаживают, соблазняют... Готовы бросить к её ногам все сокровища царств земных... Сначала всё так хорошо: Сесилия изящна и пикантна, она любит, ничего не тая и ничего не оставляя «на потом», — ее возлюбленные проходят с ней полный курс...

Почему же интерес, который она пробуждает, так скоро слабеет, а потом и вовсе гаснет? Один из её по­клонников — самый красивый и глупый — бросил ей жестокий упрек: «Ты слишком обыкновенная!» Другой — не такой красивый, но грубый, — вспоминая кульминационный момент их романа, прибегнул к такому оскорбительному сравнению: «Ты — никакая! Ты похожа на лист салата: он и пышный, и сочный, но без соли и уксуса в горло не лезет! Ты — пресная!»

Сесилия сначала плакала, потом призывала кого-нибудь из своих резервистов. Без возлюбленного она жить не могла. «В кого она такая уродилась?» — ломая голову над этим вопросом, дона Консейсан не находила ответа.

В настоящее время в списке резервистов значится только одно имя, ибо красивый стоматолог, вылитый Хосе Мухика, выбыл из игры, застукав Сесилию с Родриго, — и скоро уже долготерпение и преданность Клодинора Сабенсы будут вознаграждены. Сердце не камень: Сесилия уже позволяет взять себя под руку и украдкой посматривает на пего, поспешно отводя взгляд, если вдруг встретится с ним глазами, и слушает его стихи, вздыхает, когда он кончает читать: «Это мне посвящено?.. Дивные стихи... Я не достойна...» Час торжества близится.

Роман с Родриго был высшим взлетом Сесилии, Аристократ, богач, имя — в газетах, портреты — в журналах в сопровождении самых лестных отзывов. А какой изысканный кавалер! Даже чересчур изысканный... Уж он бы никогда не позволил себе уподобить женщину салату. Родриго — воплощенная воспитанность. Но Сесилия безошибочно чувствует, что уже приелась ему: их встречи становятся всё реже. Сначала они виделись ежеднев­но, потом через день, потом раз в три дня, а сейчас уже — раз в неделю, и что дальше будет — одному богу известно... В последний раз Родриго сказал, что уезжает в Петрополис, там будет встречать и рождество, и Новый год, а вернётся лишь в двадцатых числах января, чтобы проголосовать за генерала.

Сесилия вызвалась сопровождать его: она могла бы остановиться в какой-нибудь маленькой гостинице... Однако Родриго с деликатностью, столь ему свойственной, отклонил это предложение: краткая разлука лишь усилит радость новой встречи. Но Сесилия знает, что новой встречи не будет.

Он, впрочем, ещё не завтра уезжает. Родриго будет присутствовать на представлении пьесы Антонио Бруно, главную роль в которой играет Мария-Жоан. На следующей неделе — «сейчас буквально ни минуты свободной» — он завезёт билеты ей, генералу и доне Консейсан. В своей вступительной речи генерал обязательно должен упомянуть об этой комедии в стихах. Вот что значит воспитание: какой замечательно благовидный предлог для того, чтобы пригласить её родственников на премьеру! «На будущей неделе...» — сказал он. «В последний раз...» — догадывается Сесилия. Обидно до слёз: такой изысканный, утончённый и элегантный... А уж какой любовник!..

Вот тогда-то в первый раз Сесилия и назвала Клодинора Сабенсу нежно — Кло-кло, и в порыве страсти он ответил: Сиса, любимая моя Сиса!

### НЕОБХОДИМЫЙ ВИЗИТ

— Визит совершенно обязателен! Ни один кандидат ни под каким видом не смеет уклониться от посещения того или иного академика. А вот академик имеет право отложить приём кандидата или вовсе отказать ему. Дело кандидата — почтительно испросить разрешения навестить члена Академии в удобном тому месте и в удобное для того время.

Старый Франселино, развалившись в кресле в библиотеке Академии, излагает свою точку зрения коллегам, обсуждавшим этот вопрос перед его приходом. Коллеги безмолвно внимают старейшине Академии, одному из её основателей, «бессмертному» с сорокатрехлетним стажем, непререкаемому авторитету в области устава, правил и традиций этого учреждения.

— Да, я знаю, что в уставе ни слова не сказано о предвыборном визите. Тем не менее этот неписаный за­кон значит больше, чем любой параграф устава Академии. Это conditio sine qua non[[24]](#footnote-24) для того, чтобы кандидат прошел на выборах. И боже упаси кандидата сказать, что кто-то из академиков ему не нравится или не вызывает у него уважения. В этих стенах нет места антипатии или вражде: здесь все равноуважаемы.

Он может распространяться об этом часами, поскольку главная его задача защитить незыблемость иерархии и авторитет Академии.

— Если академик публично заявил о своём намерении поддержать того или иного претендента, это не освобождает остальных претендентов от необходимости наносить ему визит. Напротив, в этом случае визит делается ещё более обязательным.

Франселино с наслаждением затягивается сигаретой — он выкуривает в день только пять штук, чтобы уберечься от катара и бронхита, — и продолжает:

— Наша Академия — учреждение единственное в своём роде и не имеющее себе равных. К ней должно относиться с восхищением и трепетом. А поскольку Академия состоит из академиков, логично предположить, что и мы вправе претендовать на восхищение и трепет. Что стало бы с нами без предвыборных визитов?!

Одобрительные восклицания коллег встречают риторический вопрос престарелого дипломата. А он сурово выносит приговор:

— Заявив, что не пойдет к Лизандро с визитом, генерал совершил серьезную и непростительную ошибку. На каком основании он позволил себе такое пренебрежение? Лизандро поддерживал кандидатуру полковника Перейры? Ну и что? Он имел на это право и этим правом воспользовался. А вот генералу права нарушать одну из самых чтимых традиций нашей Академии никто не давал. Он поступил дурно.

Вывод Франселино находит единодушную поддержку среди коллег. Один из них добавляет:

— Этот Мажино не только самодур, но и утомительный болтун. Не знаю, что хуже.

Можно было бы сказать, что генерал Морейра не только самодур и болтун, но еще и сущий младенец в академических делах: он доверительно рассказал двум-трем «бессмертным», что не станет наносить визит Лизандро Лейте, который был так любезен с ним во все время предвыборной кампании и который до сих пор не сложил оружия, подговаривая бывших сторонников Пе­рейры не голосовать за генерала. Генерал счел, что его генеральское достоинство ущемлено, и стал в позу: единственный претендент, по его мнению, может рассчитывать на некоторые вольности и поблажки.

Доверительный разговор перед выборами в Академию смело уподоблю шилу в мешке, особенно если разговор этот обнаружил, что кандидат непочтителен и забывает свое место. Никто ему таких вольностей не позволял и поблажек не давал.

Дом Лизандро Лейте был единственным местом, которое не посетил генерал во время своего предвыборного паломничества. Он трясся в вагоне на пути в Минас-Жерайс, но зато получил обещание полупарализованного новеллиста. В Сан-Пауло генерал отправился самолетом и был самым сердечным образом принят автором «Романсеро бандейрантов»[[25]](#footnote-25). Они вспомнили эпизоды революции 1932 года — поэт в ту пору состоял при штабе полковника Эуклидеса де Фигейредо. Вместо положенных двадцати минут визит продолжался чуть ли не весь вечер. Свой голос творец «Книги псалмов» по укоренившейся привычке обещал отправить прямо в Академию. Путешествие обошлось недешево, но в Рио генерал Морейра вернулся как на крыльях. Не вызывало сомнений, что этот маститый писатель проголосовал бы за генерала, даже если бы тот был не единственным претендентом на место в Академии, а оставался соперником подлеца полковника. Поэт Марио Буэно был генералу собратом по оружию и по лире.

### ПРЕДШЕСТВЕННИК

Однако выяснилось, что братство по лире этому человеку дороже. За несколько дней до генерала у него побывал «неистовый партизан» Эвандро Нунес дос Сантос (так стал называть его Афранио Портела). Он прибыл с единственной целью: обнять Буэно и обсудить с ним предстоящие выборы. Они дружили с незапамятных времён и даже были дальними родственниками: жена поэта приходилась покойной Аните двоюродной сестрой. В свои нечастые наезды в Рио Буэно всегда останавливался в гостеприимном доме на Санта-Терезе.

Вакансия в Академию заставила Эвандро дважды навестить потомка бандейрантов: в первый раз, чтобы уговорить его проголосовать за генерала. Это было нетрудно. Сампайо Перейра — тогда еще майор — после поражения революции 1932 года возглавлял армейскую контрразведку и попортил побежденным много крови, обвиняя их в сепаратизме.

— Да это же форменный «лесной капитан»[[26]](#footnote-26). Как ты мог подумать, что я проголосую за него? Забыл, кто я? Он приезжал ко мне, я принял его любезно и обещал поддержку — я всем обещаю поддержку, потому что хорошо воспитан. Но ясно, что голосовать я буду за генерала: он по крайней мере участник эпопеи тридцать второго года.

Когда же Эвандро приехал к Марио во второй раз и стал просить его не голосовать за Морейру, эта же эпопея 32-го года оказалась серьезным препятствием.

— Может быть, он самодур, бездарность и зануда. Может быть. Не спорю. Но я так редко бываю в Академии, что мне нет никакого дела до его надоедливости!

Это возражение было предусмотрено Эвандро, который знал: всё, что имеет отношение к событиям 32-го года, священно для Марио, написавшего героическую песнь «Вперёд, за Сан-Пауло!» — единственное по-настоящему скверное произведение из всего его необозримого творческого наследия. Поэтому он выложил свой верный козырь:

— А я-то думал, ты хочешь, чтобы Жозе Фелисиано стал академиком... — Он снял пенсне, тщательно протер его и снова надел. — Помнишь, когда я сообщил тебе о смерти Бруно, мы с тобой в один голос сказали, что только Фелисиано может стать его достойным преемником. Ведь это ты первым назвал его имя. Большой поэт, славный человек и, кроме того, уроженец Сан-Пауло, твой земляк...

— Да разве я спорю! Фелисиано подходит, как никто другой... Но тут вмешались эти вояки...

— Я сразу хотел выдвинуть его кандидатуру, по Афранио убедил меня, что с полковником Перейрой может сладить только генерал. Он был совершенно прав, хотя, скажу тебе по секрету, никакой генерал не свалил бы этого фашистика. К счастью, Перейра не выдержал битвы и походных передряг и приказал долго жить. Так на черта нам теперь генерал? Ты когда-нибудь слышал, чтобы места в Академии занимали по традиции?! Одно место принадлежит армии! Другое — флоту! Третье — авиации, так, что ли? Завтра явятся полицейские, а за ними пожарники и тоже потребуют себе место в Бразильской Академии! Вот что, Марио: надо провалить на выборах этого зануду, а когда освободится вакансия, выдвинем Фелисиано.

— А... это возможно?

— По моим расчётам, всё зависит от тебя.

Марио Буэно любил Жозе Фелисиано как родного брата. Они дружили с юности: вместе околачивались в редакциях, веселились с одними и теми же уличными девчонками, ухаживали за барышнями из хороших семейств, вместе устраивали разгульные празднества в залах, расписанных Лазарем Сегаллом, вместе принимали участие в «Неделе современного искусства» и вместе писали яростные манифесты против Бразильской Академии. В 1932 году Жозе Фелисиано находился в туберкулёзном санатории, где ему делали пневмоторакс. Не колеблясь ни минуты, он добровольцем пошел на войну: его чуть ли не силой прогнали продолжать лечение.

— Ладно, старый анархист, твоя взяла! Против генерала я голосовать не буду — он в тридцать втором сражался за нас. Я воздержусь. Результат один, а разница есть.

— Знаю.

— Свой голос приберегу для Жозе. Если он не был тогда вместе с нами, то не по своей вине: врачи вытащили его из окопа. Какой он замечательный поэт, Эвандро! — Буэно обладал редким даром: умел восхищаться другими. — Первый поэт Сан-Пауло!

— Он талантлив, не спорю, но первый поэт Сан-Пауло — это ты.

Буэно умел восхищаться другими, но при этом обладал ещё одним даром, не столь редким вообще, а среди литераторов распространенным особенно, он умел восхищаться и самим собой.

— Нет, старина. Тут ты не прав. Я не первый поэт Сан-Пауло. Я первый поэт Бразилии.

### СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ СПЕКТАКЛЮ

За неделю до рождества на сцене театра «Феникс» Мария-Жоан представила на суд нетерпеливой и благосклонной публики комедию в стихах «Мери-Джон», которая была написана Антонио Бруно и снова увидела свет рампы через восемнадцать лет после премьеры. Несмотря на бешеные цены, в зале не было ни одного свободного места: люди стояли вдоль стен и сидели на полу в проходах. Пока не поднялся занавес, жаждавшие продолжали осаждать кассу, объявление над которой извещало: «Все билеты проданы».

В зале был «весь Рио-де-Жанейро», все сколько-нибудь заметные люди бразильской столицы, начиная с министра иностранных дел Араньи — своим присутствием он бросал вызов лицемерию правителей Нового государства — и кончая Стенио Баррето, которому Мария-Жоан послала три билета в ложу, содрав с него за это чудовищную сумму.

Интерес к спектаклю усиленно подогревался в газетах и по радио. Гала-представление, посвящённое двадцатилетию сценической деятельности Марии-Жоан — отсчёт вели с её первых маленьких ролей в тех ревю, где блистала Маргарита Вилар, — должно было стать гвоздём сезона, крупнейшим событием в театральной жизни столицы.

В течение нескольких дней газеты сообщали, что весь сбор поступит в пользу «Свободной Франции». Об этом проговорился журнал «Дон Казмурро», заранее напечатавший программу, сочиненную Фигейредо Жуниором: «Свой двадцатилетний сценический юбилей Мария-Жоан решила посвятить непокорённой Франции, которую сегодня топчет нацистский сапог, и её гражданам, борющимся с кровавым захватчиком. Выручка от спектакля будет передана борцам Сопротивления. Все, кто причастен к этому спектаклю, — от владельцев театра „Феникс“ до машинистов и плотников — будут в этот вечер работать безвозмездно в знак солидарности с первой актрисой бразильского театра, героической борьбой французского народа, потому что это и наша борьба. Комедия Антонио Бруно „Мери-Джон“, написанная специально для дебюта Марии-Жоан в драматическом театре и поставленная Леополдо Фроэсом, как нельзя лучше подходит к этому празднику в честь выдающейся актрисы и непокоренной Франции. Автор пьесы — великий, незабвенный Антонио Бруно — считал Францию своей второй родиной. Он долго жил там и воспринял все достижения французской культуры. Сердце его не выдержало зрелища униженной, порабощённой Франции. Антонио Бруно стал одной из первых жертв падения Парижа».

Номер еженедельника «Дон Казмурро» не был ни запрещен, ни задержан цензурой, и в пробитую им брешь устремилась вся остальная пресса. Газеты превозносили благородное начинание Марии-Жоан. Высокопарные эпитеты и замысловатые сравнения потоком низвергались на читателей. Стало известно, что начальник ДПП — лич­ность весьма загадочная — собственноручно поставил жирную разрешающую закорючку на корректуре статьи Фигейредо. Впрочем, в этой либеральной позе он пробыл недолго: из того самого кабинета в министерстве обороны, где раньше сидел полковник Перейра, последовал начальственный окрик. Статью объявили крамольной, и ДПП тут же запретил любое упоминание в печати о спектакле, о Франции — оккупированной или сражающейся, всё равно, — о нацистах и о маки. Кроме того, запретили перепечатывать программу спектакля.

Но принятые меры не достигли цели. В Рио говорили только о программе Фигейредо и о спектакле «Мери-Джон», билеты добывались чуть ли не в рукопашной. Цена за билет достигла нескольких тысяч, за программу предлагали ещё больше.

Стало известно, что в правительстве разыгралась схватка куда более ожесточённая, чем у театральных касс. Наиболее радикальные министры Нового государства требовали запретить спектакль; сторонники сближения с союзниками отстаивали его. Ходили слухи, высказывались предположения, росла напряженность. Рассказывали, будто владельцев «Феникса» Гинлесов пытались запугать и вынудить к расторжению контракта — ничего из этого не вышло. Устроители поклялись сыграть спектакль, даже если цензура его запретит: в назначенный час двери «Феникса» откроются для зрителей и подни­мется занавес. Актёры будут играть, рискуя попасть в тюрьму и под суд. Передавали, что дочь диктатора Алзира пообещала отцу, что, если спектакль запретят, она явится в театр и будет рукоплескать артистам.

В конце концов спектакль был разрешён с одним непременным условием: нигде — а уж на сцене и подавно — не должно прозвучать и намека на какую-то его связь с антинацистскими организациями Франции. Юбилейный вечер Марии-Жоан «Двадцать лет на сцене» — и всё.

Можно сказать, что постановка «Мери-Джон» переросла рамки своего первоначального замысла и привела к столкновению между бразильскими нацистами и интеллигенцией, решившей ещё раз отстоять свободу. Так уж повелось в нашей стране ещё со времен колоний и стихов баиянского мулата Грегорио Матоса.

### МАРИЯ-ЖОАН, МЕРИ-ДЖОН, МАРИАННА

Первый шквал рукоплесканий потряс стены театра «Феникс», как только поднялся занавес и зрители увидели декорации Санта-Розы. Это была революция в истории бразильской сценографии, новая эра. Появление каждого актера встречалось аплодисментами, которые перешли в овацию, когда на сцену вышел Прокопио Феррейра. Он играл роль мошенника, выдающего себя за американского киноактера. Преодолевая волнение, Прокопио произнёс первые слова ещё до того, как стихли рукоплескания. Когда же на сцену вышла Мария-Жо-ан — мисс Мери-Джон, шалая восемнадцатилетняя сума­сбродка, помешавшаяся на американских фильмах, — спектакль пришлось приостановить — овация продолжалась не меньше минуты.

После такого бурного начала публика мало-помалу успокоилась, и первые два акта этой пьесы — драматургически рыхловатой, но написанной великолепными звучными стихами, на которые вдохновила Антонио Бруно красота и бешеный нрав Марии-Жоан — были встречены с весёлым одобрением — впрочем, к нему примешивалась лёгкая тревога: никто не удивился бы, если бы в дверях появились полицейские и потребовали очистить зал.

Когда же начался третий и последний акт, пораженные зрители увидели на сцене, у задника, не только всех занятых в спектакле актёров, но и всех рабочих сцены, электриков, машинистов, суфлёра, Фигейредо Жуниора, режиссера Алваро Морейру — словом, всех, кто принимал участие в постановке. Не хватало лишь Марии-Жоан.

В центре стояла неимоверных размеров корзина с синими, белыми и красными — как французский флаг — цветами. Зрители снова захлопали, и волна аплодисментов достигла своей высшей точки, когда из-за кулис вышла Мария-Жоан в костюме Марианны: трехцветная юбка и блузка, фригийский колпак. Прижав ладонь к груди, она постояла, ожидая, когда стихнет овация. Потом ее хрипловатый голос, в котором всегда чудился отзвук какой-то тайны, голос, который не забудешь, если слышал хоть раз, произнес:

— «Песнь любви покорённому городу». Стихотворение Антонио Бруно. Написано после падения Парижа, незадолго до смерти поэта.

Я не берусь описать состояние зрителей. Никто не думал, что со сцены театра «Феникс» прозвучат строфы преданного анафеме стихотворения. Словно электрический разряд ударил в зал: кто-то вскочил, за ним поднялись ещё несколько человек, и вот уже все были на ногах и рукоплескали. Пока она читала, никто не сел. Воцарилась такая мёртвая тишина, что на миг показалось, будто огненные, окровавленные, горькие от слез и прерывающиеся от ярости слова, в которых бились унижение, гнев, ненависть и любовь, всплыли откуда-то из глубин времени, прилетели, проломив степы театра, со всех четырех сторон света.

Первые четверостишия оплакивали город, преданный огню и мечу: напевный голос великой актрисы говорил о грязной реке, бывшей некогда Сеной, о трупах мучеников, о грохоте солдатских сапог, о скорби и безмолвии, об отчаянии и смерти. А потом, будто звонкий зов боевой трубы, зазвучали слова, поднимавшие людей на борьбу за освобождение, возвещавшие пришествие нового, светлого дня, воскрешение жизни и любви. Каждую строфу зрители встречали неистовыми рукоплесканиями — такого никто ещё не видал.

...Португалка Мария Мануэла, сидя в партере между доной Розариньей и местре Афранио, улыбаясь сквозь слёзы, шепотом повторяет стихи Бруно — это и её стихи. На следующий день она уезжает в Каракас и, быть может, никогда больше не увидит Рио, но след её пребывания остался тут; это ради неё Бруно призвал людей на борьбу за свободу. Что ж, возможно, Мария Мануэла снимет теперь траур, утешится в своём вдовстве, думает местре Афранио. Это сделали стихи Бруно.

Слёзы текут и по щекам Марии-Жоан, но голос её по-прежнему звучен и твёрд. Финал стихотворения обращён к убийцам и палачам народов: каждое слово — как разрыв гранаты. Над Парижем занимается рассвет, эту зарю зажгла Мария-Жоан, девчонка из предместья Рио, ставшая теперь Марианной — символом свободной Франции.

Париж, Париж, Париж! Твой факел негасим! Весь зал стоит, и Марианна всё громче повторяет имя города, которое Бруно написал на бумаге кровью сердца... Те, кто был в тот вечер в театре, поняли раз и навсегда, что угнетение, насилие, смерть не могут победить человека, свободу, жизнь.

Париж! — в последний раз повторила Мария-Жоан, и зал точно взорвался рукоплесканиями: шквал аплодисментов накатывал волна за волной, сотрясал своды те­атра «Феникс».

В конце третьего действия, когда зрители проводили овацией Мери-Джон, её партнеров и режиссёра, ещё раз поставившего комедию Бруно, какая-то женщина в партере — многие узнали поэтессу Беатрис Рейналь — запе­ла «Марсельезу».

Мария-Жоан стала вторить ей со сцены, публика подхватила. Да, это был не просто парадный спектакль в честь юбилея: праздник Марии-Жоан стал победоносной операцией французских партизан.

### ПОСЛЕДСТВИЯ

В отместку за этот вечер правительство лишило антрепризу Марии-Жоан обычной дотации. В сезон 1941 года возглавляемая ею труппа собиралась поставить «Кровавую свадьбу» Лорки, новую комедию Жораси Камарго и пьесу под названием «Рио» — первое творение молодого, но стремительно приобретавшего известность автора, сотрудника недавно запрещенного журнала «Перспектива», автора хлестких политических статей и памфлетов, несомненного и опасного коммуниста. Звали его Карлос Ласерда.

Когда Марию-Жоан вызвали в ДПП, с начальником которого она была в приятельских отношениях, актриса немедленно догадалась, о чём пойдёт речь. Они сели ря­дом на чёрный кожаный диван. Косоватый взгляд её собеседника был устремлён на высившиеся за окном унылые бетонные громады, на узкий клин залива.

— Мне порой хочется бросить всё к чёрту. Вы вправе спросить, почему же я этого не делаю? Хотите верьте, хотите нет, но я остаюсь на этой должности потому, что могу чему-то помешать, а чему-то помочь. Если бы не я, эту отдушину давно бы уже захлопнули. Теперь вы можете спросить, почему же меня не увольняют? Думаю, что Хозяину нужны такие люди, как я. Он нуждается в противниках, потому до сих пор не подписал отставку Освалдо де Араньи... Чаще всего я терплю поражение, но нельзя же всегда побеждать, правда?

Мария-Жоан улыбнулась ему приветливо и почти со­чувственно:

— Не тяните, я готова ко всему.

— Я очень старался отстоять вашу дотацию. Даю вам честное слово — лез из кожи вон. Но стихи Бруно и «Марсельеза» вызвали грандиозный скандал: наши фюреры чуть с ума не сошли. Им бы очень хотелось посадить за решётку всех участников спектакля, и, ра­зумеется, вас в первую очередь.

Он внимательно посмотрел на сидящую рядом актрису. Как она красива, изящна и вызывающе дерзка!

— Ну, а потом я ознакомился с вашим репертуаром на следующий сезон, и у меня от ужаса волосы встали дыбом. Для начала — Гарсия Лорка, он мой любимый поэт, но наверху его ненавидят: испанский республиканец, всё одно что коммунист, расстрелян генералом Франсиско Франко, нашим лучшим другом и союзником. Репутация Жораси Камарго после его пьесы «Да вознаградит вас бог» тоже изрядно подмочена. А этот новый драматург, мальчишка Ласерда! Вы знаете, что его полицейское досье — одно из самых объемистых? Короче говоря, как я ни ораторствовал, ничего не добился, только охрип. — Оп помолчал. Косоватый взгляд снова обратился к окну. — Что же вы намерены предпринять?

Мария-Жоан посмотрела туда, куда был устремлён взгляд начальника ДПП: сперва она не видела ничего, кроме бетонных кубов, но потом вгляделась и различила вдалеке полоску моря.

— Буду ставить то, что намечено, пока цензура не запретила.

— А на какие деньги? Мне отлично известно, что «Гедда Габлер» не вызывает нареканий, но и сборов не делает!

— Я достану денег. Это уж моя забота. — Она поднялась. — Как бы там ни было, спасибо вам за старания и за сочувствие. Я вам верю и благодарю вас.

Мария-Жоан протянула ему руку, начальник ДПП поцеловал кончики её пальцев и проводил актрису до дверей. Проклятая должность: каждый день — проигранное сражение. А он так привык к своей службе, ему трудно будет расстаться с этой строго отмеренной порцией власти и самостоятельности... Он родился в нищете, в захолустье Северо-Востока: ему бы весь век работать на чужой земле, как отец, мать и старшие братья. Но его природный ум и жажда знаний растрогали приходского священника и самого епископа — мальчишку приняли в духовную семинарию на казённый кошт. А уж когда он надел сутану, взялся за книги, то решил добиться власти, чего бы это ни стоило. На поверку ока­залось, что стоит это очень дорого — может быть, слиш­ком дорого...

Выйдя на улицу, Мария-Жоан гневно прикусила губу. Никто на свете не заставит её отступить!.. Вот так и завоевала она себе имя в бразильском театре. Она не свернёт с дороги, даже если для постановки этих пьес ей придётся провести уик-энд с Вонючкой Баррето. Спектакль «Мери-Джон» вознес её так высоко над расхожими понятиями добра и зла, что отныне никакая грязь к ней не пристанет.

### КАКИМ БЫТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ВЕЧЕРУ

Седой официант принес кофе. Президент Бразильской Академии Эрмано де Кармо слушает доводы двух корифеев юстиции — председателя Верховного федерального суда Пайвы и председателя апелляционного суда Лейте. Они обсуждают подробности рождественского чаепития, которое служит укреплению дружеских связей между «бессмертными», а также мелкие организационные вопросы.

Это чаепитие происходит в последний четверг перед рождеством — только раз в году допускаются на интимный праздник академиков их жены. Стол ещё роскошнее, чем на еженедельных приёмах. Президент с супругой принимает гостей, преподносит дамам цветы и рождественские подарки, а для них нет ничего более соблазнительного и интересного, чем этот праздник: они могут обойти весь Малый Трианон — и библиотеку, и архив, и гостиные, куда обычно им путь заказан. Журналист Аустрежезило де Атайде в своем пространном и беспристрастном репортаже назвал Бразильскую Академию «самым закрытым мужским клубом».

На церемонии вступления нового члена в ряды «бессмертных» дамы в вечерних туалетах от лучших портных, блистающие драгоценностями, тщательно причесанные, парадно-величественные, сидят в актовом зале. А рождественское чаепитие проходит просто и весело: никто не изнемогает от долгих речей. Супруги академиков непринужденно беседуют на разнообразнейшие темы, показывают фотографии внуков, обсуждают домашние дела, жалуются на то, как трудно теперь найти хорошую прислугу, и сетуют на рост цен. Они разговаривают и смеются, а «бессмертные» тем временем проводят быстрое заседание — только чтобы отработать жетон, который по традиции в этот день отдается служащим Академии. В то время каникулы продолжались с первого февраля до конца марта, и, таким образом, рождественский чай не завершал академический год, а был всего лишь поводом к сердечной встрече накануне величайшего христианского праздника.

— ...Он является сюда каждый четверг с таким видом, словно избран до выборов. Ещё, пожалуй, притащит на наше чаепитие жену! С него станется! Неужели мы допустим! — горячится Пайва.

Лизандро Лейте, который, с тех пор как узнал, что претендент решил не наносить ему обязательный визит, особенно яростно сопротивлялся попытке генерала стать его собратом, требует формального вето:

— Необходимо разъяснить генералу, что на наши празднества допускаются из посторонних только жены академиков и служащие Академии. Мы никого не зовем и не допускаем незваных.

Эти мелкие сложности протокольного ритуала могут свести с ума! Каждый шаг в Академии регламентирован, и «бессмертные» ревниво следят за неукоснительным соблюдением правил. Президент воздевает руки к небу:

— Я ли ему не намекал! Я ли не давал понять! Если он всё-таки придёт, я тут ни при чём!

— Намёками и иносказаниями с Мажино не сладишь — потому он и получил это прозвище, — торжественно заявляет Пайва.

— Да я знаю! Я одними намеками не ограничивался. В прошлый четверг я под каким-то нелепым предлогом прямо и открыто уведомил его, что на рождественское чаепитие допускаются только академики, их жены и служащие секретариата. Попробуй пронять такого толстокожего.

— Если он придет, я заберу Мариусию и немедленно уйду, — пригрозил Лизандро.

— Нет, Лизандро, вы этого не сделаете...

— Еще как сделаю! Генерал объявил, что не станет наносить мне визит!

— Именно поэтому вы и не уйдете! Это глупое заявление сослужило генералу дурную службу и многих настроило против него. Но если вы ответите грубостью на грубость и в рождественский вечер покинете своих собратьев, то поставите себя с генералом на одну доску. Тогда он будет вроде бы не так уж не прав. А ведь вы этого не хотите, Лизандро?

— Разумеется, нет. Лизандро сказал не подумав, в нём говорила обида, его можно понять. Лизандро не уйдет. Я ручаюсь.

Лейте не хочется спорить с Пайвой, место которого он собирается занять через несколько месяцев, когда тот выйдет на пенсию.

— Генерал нанёс мне оскорбление. Но я постараюсь остаться в рамках приличия.

— Думаю, он не придёт. Я говорил с ним, пожалуй, слишком прямо. Боюсь, что в отличие от вас, дорогой Лизандро, мне остаться в рамках приличия не удалось. А если, несмотря ни на что, он все-таки явится? Что тогда?

Служители правосудия дождались, пока президент сам ответит на свой вопрос:

— Во-первых, мы стерпим это, не показав виду. А во-вторых, генерал снова вызовет нарекания. Из всего можно извлечь пользу!

— Конечно! Вы совершенно правы! — восклицает Пайва, которого природа не обделила ни хитростью, ни проницательностью.

### СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО

Слишком ли толстокожим оказался генерал, считал ли он, что от полноправного членства в Академии его отделяет лишь пустая формальность — церемония приема, после которой он сможет наконец подтянуть разболтавшуюся обитель «бессмертных», — но на рождественское чаепитие он всё-таки пришёл. В парадном генеральском мундире. С доной Консейсан под руку. Мало того: ему сопутствовали дочь Сесилия и верный друг Сабенса.

Верный друг Сабенса, пылкий претендент на вакантное место в постели Сесилии... Он был счастлив, он шёл как под венец.

### ПРОИСШЕСТВИЯ В САН-ПАУЛО И РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Многие академики восприняли смерть полковника Сампайо Перейры с облегчением — теперь их совесть была спокойна. В деятельности же разнообразных карательных органов — столичных и провинциальных, армейских или относящихся к ведомству одной из бесчисленных полиций, — органов, которые занимались борьбой с подрывными идеями и действиями, с либералами, антифашистами, левыми всех разновидностей, ибо все разновидности левых считались коммунистическими, — смерть полковника ничего не изменила, а уж облегчения никому не принесла и подавно.

Не приходится сомневаться, что смерть полковника Перейры, выделявшегося среди коллег особой идеологической твёрдостью, а также литературным дарованием, была серьёзной потерей для службы государственной безопасности, но всё же залатали эту дыру очень быстро, и преемника Перейре отыскали без промедления, что лишний раз подтверждает правоту начальника ДПП, за­являвшего, будто в Бразилии острая нехватка толковых людей во всех без исключения административных сферах кроме полиции. На всех ступенях её иерархической лестницы имеются хорошо знающие и любящие своё дело специалисты, среди которых особенно выделяется группа заплечных дел мастеров. Приглашенные из гестапо инструкторы не смогли обучить их ничему новому: они превосходили своих учеников лишь в нескольких, особо замысловатых приёмах дознания.

Сразу после Нового года Управление специальной полиции штата Сан-Пауло известило о событии чрезвычайной важности, с которого и началась захлестнувшая всю страну волна полицейского террора. Был совершен налёт на тайное собрание, на котором в полном составе присутствовал Центральный Комитет коммунистической партии. Подрывной организации, как сообщалось далее, был нанесен смертельный удар, подготовленный всесторонним расследованием, глубоким изучением обстановки, кропотливым розыском — словом, всем тем, что вызывает законную гордость за систему национальной безопасности, стоящую на страже порядка и общественного спокойствия.

Операция выявила не только выдающиеся организаторские способности тех, кто ею руководил, но и героизм её рядовых участников, — истинный героизм, поскольку коммунисты, обнаружив, что их центр в Серра-до-Мар блокирован со всех сторон, открыли огонь. В результате перестрелки ранены два агента и убиты шесть коммунистов, среди которых находился усиленно разыскиваемый Рябой. Захвачено пятнадцать партийных руководителей высокого ранга, большое количество оружия и запрещённой литературы. Без сомнения, последуют новые аресты: расследование продолжается, идут допросы. Об участии в этой операции армейских подразделений хвастливое заявление умалчивало.

Через несколько дней начальник полиции Сан-Пауло устроил пресс-конференцию для аккредитованных при его кабинете журналистов и сообщил о новых успехах своего ведомства. В ходе розыска и на основании полученных на допросах данных удалось установить местонахождение тайной типографии, где печаталась газета «А класе операриа» и большая часть партийной литературы. Пять опасных преступников обезврежены.

Репортеры получили возможность осмотреть и сфото­графировать трофеи двух грандиозных операций: жалкое вооружение — несколько револьверов, два ружья, исковерканный пулемет, патроны — и множество печатной продукции. Кроме пачки экземпляров последнего номера газеты, там были манифесты, прокламации, памфлеты, в которых содержался анализ международного положения, не опубликованные в печати заявления о начале забастовок, призывы к рабочим и крестьянам оказать финансовую помощь нелегальным организациям, воззвания в защиту политзаключенных. Портреты Маркса, Ленина, Сталина, Димитрова и Престеса. «Песнь любви покоренному городу», напечатанная в виде листовки на оранжевой бумаге.

На этой пресс-конференции начальник полиции представил журналистам товарища Aco[[27]](#footnote-27) — такова была партийная кличка Феликса Браги, известного в своём кругу грубостью и резкостью, а также фанатизмом и нетерпимостью. Недоучившийся студент-медик, Феликс скрывал своё буржуазное происхождение и говорил, что его отец был рабочим на текстильной фабрике. Асо не кончил курса в университете, всецело посвятив себя нелегальной деятельности, и быстро сделал карьеру из-за того, что жестокие удары режима нанесли серьезный урон руководству партии. Он стал членом ЦК и кандидатом в члены Политбюро.

Начальник полиции не забыл упомянуть про важный пост, который занимал Асо, и про то, какую опасность для существующего порядка представлял он, а потом сообщил, что арестованный желает сделать заявление.

Слегка дрожащим голосом Асо прочёл документ, составленный и подписанный им накануне — по доброй воле, без всякого принуждения, как особо отметил начальник полиции. Оказавшись в одиночке и получив возможность поразмыслить над своей судьбой, Асо пришёл к выводу, что принес свою молодость в жертву недостойному делу: стал активным членом партии, объединяющей в своих рядах предателей и убийц, служащих интересам России. Партия обманывает рабочих и студентов, призывая их на борьбу за ниспровержение устоев общества, против религии, семьи, отчизны. Осознав свою ошибку, он, Феликс Брага, решил публично отречься от своих коммунистических заблуждений и порвать с этой преступной организацией, о чём и свидетельствует настоящее заявление, скреплённое его подписью.

Он читал плохо: путался в словах, запинался, повторял уже прочитанное. Журналистам сразу стало ясно, что текст заявления сочинил не он: никогда коммунист, пусть даже отрёкшийся, не назовет Советский Союз Россией. Но под документом стояла собственноручная подпись Асо — журналистам позволили сличить её с подписями на копиях, розданных присутствующим.

После того как унизительная процедура чтения окончилась, начальник полиции снова попросил подтвердить, что заявление сделано Асо по собственной воле, без всякого насилия или угроз. Не поднимая глаз, Феликс сказал, что он раскаялся в своём преступном прошлом и решил лично предостеречь бразильскую молодежь от тлетворного воздействия коммунистов. Начальник полиции задал ему ещё один вопрос: слышал ли он, чтобы кого-либо из арестованных подвергали пыткам? Нет, отвечал Асо, ни у кого из арестованных он не видел следов истязаний и не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на побои... Вспыхнули блицы, и агенты увели Асо — журналисты расспросить его не смогли. В самом деле, к чему расспросы, если подлежащий публикации материал не может быть ни урезан, ни расширен, ни оспорен, ни подтверждён?!

И вот на первых страницах газет появились жирные заголовки и фотографии на целый разворот; редакционные статьи восхваляли мудрость полиции и обращали внимание юношества на волнующее, искреннее и полное драматизма заявление Феликса Браги, наивного студента, увлечённого в пучину сладкими голосами коммунистических сирен. Целую неделю продолжались похвалы Новому государству и оскорбления по адресу Советского Союза.

Тем не менее ходили упорные слухи о том, что на самом деле события развивались совсем не так: всё было менее героично, зато более правдоподобно. Дотошные журналисты выяснили, что эта история началась со случайного ареста молодого активиста, который имел при себе пачку экземпляров газеты «А класе операриа». Он ехал в переполненном автобусе. Чтобы избежать столкновения с неожиданно вынырнувшим из-за поворота грузовиком, водитель резко вывернул руль, и автобус врезался в столб. Юноша потерял равновесие, упал, выронил пакет, из которого посыпались номера запрёщенной газеты. Полицейский агент, оказавшийся рядом, задержал юношу и вместе с вещественными доказательствами его вины доставил в Управление.

Там его допросил знаменитый инспектор Аполонио Серафим. На второй день арестованный, уже мало похожий на человека, назвал адреса партийного центра в Серра-до-Мар, подпольной типографии в Браса и сообщил о тайном заседании ЦК. Сам не свой от радости, Аполонио Серафим кинулся к начальнику полиции, а начальник полиции доложил вышестоящему начальству — командованию военного округа. Тайное заседание ЦК? Военные взяли руководство операцией на себя.

...Когда Асо привели на допрос и он увидел агентов с резиновыми дубинками, дымящуюся сигарету во рту одного из них, плети с узлами на концах, почти приветливую улыбку на лице Аполонио Серафима (Феликс знал его по фотографиям и понаслышке), он покрылся восковой бледностью и почувствовал холод в низу живота. Когда же он заметил у стены двух совершенно голых, избитых, окровавленных людей и узнал в них Бангу и Мартинса, то побелел и похолодел ещё сильней. На полу в луже крови лежал товарищ Гато — лицо его было изуродовано, а сам он то ли потерял сознание, то ли уже умер.

Мартинс и Бангу были рабочими, Гато — известным журналистом. Феликс Брага почувствовал, что сейчас обмочится. Аполонио подошел ближе:

— Ну, сейчас посмотрим, стальной ты или нет...

Он ткнул Асо кулаком в грудь, и тот на миг задох­нулся. Аполонио Серафим был не лишён юмора. «Мои руки надо ценить на вес золота», — говорил он, демон­стрируя слоновьей толщины лапы, железные кулачищи, Асо хватило одного удара.

— Не бейте меня, ради бога, я всё скажу.

И он сказал всё, что знал, и подписал заявление, которое потом прочел журналистам. Он лично указывал полицейским группам известные ему конспиративные квартиры и явки. Его признания вызвали новую волну арестов. Чтобы избежать суда и не сидеть с бывшими своими товарищами в одной камере, Асо попросил полковника, который в течение недели вёл ежедневные до­просы, отправить его в Рио — там он сможет принести больше пользы. Когда через несколько месяцев он был освобождён, от его партийного прошлого не осталось даже клички, теперь и агентам было известно, что он не из стали.

Такие гнусные и грустные превращения время от времени случаются. Чем непреклонней и решительней держится человек, чем нетерпимей он к недостаткам других, тем слабее он оказывается в час испытания — перед палачом. Тот, кто принимал участие в борьбе, хорошо знает эту истину.

На самом деле Гато, который был распростёрт на полу в кабинете следователя, звали Жоакин да Камара Феррейра, и был он журналистом, редактором одной из крупных газет Сан-Пауло. Он вёл двойную жизнь: утром писал для своей газеты, вечером — для запрещенного подпольного журнала. Он был весёлый, смешливый, дру­желюбный человек. Он не требовал, чтобы его товарищи были сделаны из стали, и не обвинял их в мелкобуржуазных пережитках. Две недели беспрестанных пыток не вырвали у него ничего — ничего, кроме ногтей на руках. Однажды утром, когда его доставили из камеры на но­вые муки, он бросился к окну, разбил стекло и осколками перерезал себе вены. Его бегом отнесли в лазарет и стали выхаживать. Но известие о том, что он арестован и подвергается пыткам, распространилось по редакциям. Его коллеги, профсоюз журналистов, Ассоциация работников печати Сан-Пауло, владельцы газеты, в которой он работал, забеспокоились и предприняли кое-какие шаги. Он не умер, но был судим и осуждён, сидел в тюрьме и вышел оттуда по амнистии 1945 года. Гато был полной противоположностью Асо: после освобождения он продолжал борьбу, пока не погиб уже при новом диктаторе.

В Рио-де-Жанейро хватали и сажали не только тех, кого выдал Асо, ещё носивший наручники. Многие врачи, инженеры, чиновники, банковские служащие и даже банкиры были арестованы и попали под суд. Их имена значились в списках тех, кто давал деньги для коммунистической партии, а списки обнаружили на проваленных явках.

Полиция ворвалась и в контору неподалеку от «Синеландии», принадлежавшую одному из самых ловких и умелых адвокатов, очень симпатичному человеку, который имел доступ в самые различные сферы и пользовался уважением даже судей Особого трибунала, где он вёл дела политических преступников. Ему и его коллегам часто удавалось смягчить приговор, а иногда и добиться оправдания. Этого адвоката звали Летелба Родригес де Брито. Вместе с ним арестовали одного из его коллег и троих его помощников — студентов юридического факультета.

Среди них была и Пруденсия дос Сантос Лейте, больше известная под именем Пру. Хотя она училась только на четвёртом курсе, но знаниями и хваткой могла бы потягаться со многими бакалаврами права. От отца Пру унаследовала упорство, живой ум, добродушие, от матери — красоту и рассудительность.

### ОТЕЦ И МАТЬ

Узнав об аресте дочери, Лизандро Лейте едва не сошёл с ума. Он без памяти любил жену, детей и внуков, а младшую дочь — неблагодарную, неосторожную девчон­ку, опрометчиво связавшуюся с коммунистами и не упускавшую случая осудить взгляды и поступки академика, — просто обожал. Занимаясь предвыборной кампанией полковника Перейры, он постоянно находил у себя на столе гневные записки. Лизандро кричал на дочь, грозил и стыдил, но любить не переставал: он был на седьмом небе, когда его коллеги с юридического факультета хвалили способности и усердие Пру — «вся в папу!» — и её благородную (по их мнению) деятельность в сомнительной (по мнению Лизандро) юридической конторе Летелбы де Брито, который защищал политзаключенных в Особом трибунале.

Чтобы вызволить Пру из тюрьмы, он поднял на ноги весь город: бросался к высокопоставленным судейским чиновникам, просил заступничества у военных, с которы­ми свёл знакомство через полковника Перейру, требовал, чтобы президент Эрмано де Кармо действовал от имени Бразильской Академии.

Дни шли за днями, и Лизандро становился всё мрачнее и угрюмее. Он начисто утратил свой оптимизм, энергию и доброе расположение духа — неудивительно: ему не только не удалось добиться свидания с дочерью, но и хотя бы узнать, где она находится. Один из военных пообещал заняться этим делом, однако через двое суток сказал, что ничем не сможет помочь: сотрудникам конторы грозят слишком серьёзные обвинения — «все они, включая вашу дочь, вляпались по уши».

Однажды ночью, когда Лизандро без сна ворочался на супружеском ложе, дона Мариусия обняла мужа и привлекла его к себе.

— Постарайся уснуть, Лизандро.

— Не получается. Как подумаю об этой безмозглой девчонке, готов, кажется, задушить её собственными руками, когда вернётся.

— Понимаю... Ты боишься, что арест Пру помешает твоему назначению?

— Ничего ты не понимаешь! — взревел Лизандро. — Плевать я хотел на своё назначение! Я боюсь за Пру, вот и всё! — Он понизил голос, в котором зазвучали боль и страх: — Там ведь пытают, ты знаешь об этом?

— Да, Пру говорила... И я читала в тех её бу­мажках...

— Это не выдумка коммунистов. Это правда. Они прижигают арестованных горящими сигаретами, вырывают ногти, избивают... Насилуют женщин вшестером, всемерой... Стоит мне подумать, что Пру в их власти, а я сижу сложа руки... Где уж тут спать...

Дона Мариусия стала целовать Лизандро глаза, щеки, губы:

— Успокойся! С ней ничего не случится — она твоя дочь, а ты член Бразильской Академии.

Она придвинулась ближе. Лизандро почувствовал прикосновение её груди и пробормотал:

— Не хочу, не могу, ничего не могу...

— Не стоит так огорчаться — вот увидишь, Пру ско­ро вернётся.

Так и случилось. По ходатайству адвокатов, работающих в Особом трибунале, судьи этой грозной организации заинтересовались судьбой доктора Летелбы и его коллег.

Пру выпустили из тюрьмы глубокой ночью, и, когда она, целая и невредимая, ликуя оттого, что побывала за решеткой, и оттого, что вышла на свободу, появилась в отчем доме, Лизандро встретил её криками:

— Сама во всём виновата! Хочешь погубить и себя, и нас всех?!

— Не беспокойся, папа, я больше не буду жить у вас. Скоро перееду.

Дона Мариусия разжала объятия:

— Не верь ни единому его слову! Оп чуть не умер, пока тебя не было. Глаз не смыкал, совсем потерял аппетит и даже отказался выполнять свои супружеские обязанности, впервые за все годы нашего брака... — с улыбкой прибавила она. — Твой отец тебя обожает.

Пру подошла к Лизандро.

— Разве я не знаю? Этот старый реакционер в глубине души страшно чадолюбив.

Пухлой, мокрой от пота ладонью Лизандро погладил дочь по голове.

— Ты ведь не уедешь? Нет?

— Только если мой бесчеловечный отец выставит меня из дому.

— Совсем ты у меня дурочка...

Пру, как когда-то в детстве, села к отцу на колени.

— Не беспокойся, папа. Я ни чуточки не боялась.

— Конечно, конечно. Ты предоставила это нам: мы тут едва с ума не сошли, — ответила за мужа дона Мариусия.

Она подошла к мужу и дочери. Что ж, из Лизандро можно верёвки вить: она под его защитой, он под её опекой. Пру — отрезанный ломоть, нечего и пытаться вновь командовать ею.

— Отправляйся в ванную, ты грязная, от тебя плохо пахнет. А мы с отцом пошли спать.

— Неужели? — игриво осведомилась мятежная дочь.

Лизапдро улыбнулся. Он вновь испытывал голод, жажду, вожделение — он вновь вернулся к жизни.

### БРАЗИЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

С середины января в Малом Трианоне ежевечерне можно было встретить генерала Валдомиро Морейру, Академики, приходившие забрать адресованную им корреспонденцию, встретиться с читателем или приятелем, перемолвиться словом с президентом, неизменно видели генерала в библиотеке за столом, заваленным книгами, — он что-то читал и выписывал, поражая «бессмертных» своей усидчивостью. Они подходили, заговаривали с ним, желая узнать, чем он занят. Генерал не сердился, когда его отрывали от дела, — напротив, он с удовольствием посвящал любопытных в подробности своей работы. Не­которые академики были уж и не рады, что вызвали громогласного и словоохотливого кандидата на раз­говор.

Следует уточнить: «единственного кандидата». Именно в этом качестве генерал принялся за сочинение своей речи на вступительной церемонии. Он собирался стать причисленным к лику «бессмертных» сразу по окончании академических каникул. Правда, ещё не было мундира с пальмовыми ветвями, но Алтино Алкантара, друг и единомышленник, польщённый таким доказательством уважения и доверия, как просьба генерала произнести речь от лица новых коллег, обещал помочь в том случае, если правительство штата Пернамбуко, отчизны выдающегося военачальника и литератора, нарушит славный обычай я не пришлёт новому академику мундир и шпагу в знак того, что гордится своим земляком, завоевавшим «бессмертие». Если же пернамбуканцы всё-таки совершат подобную низость и поскупятся, то влиятельный Алтино брался добыть в Сан-Пауло сумму, которой с лихвой хватит на мундир, шпагу, треуголку и вдобавок на шампанское, чтобы отпраздновать великое событие. В память о 32-м годе генерал вправе рассчитывать на благодарность жителей Сан-Пауло — граждане этого штата нико­гда не забудут тех, кто в трудную минуту был с ними рядом.

В те дни, когда у Клодинора Сабенсы не было вечерних занятий — он совмещал работу в газете с преподаванием португальского языка в одной из муниципальных гимназий, — он сопровождал своего знаменитого друга, отца Сесилии, исполняя при нём обязанности секретаря: приносил и уносил книги, делал выписки. Если же Клодинор был занят, то генерал сочинял и отшлифовывал свою речь.

Место, на которое претендовал генерал Морейра, по­следовательно принадлежало трём генералам и Антонио Бруно. Но в истории бразильской словесности имелся ещё один генерал-литератор — первый покровитель союза меча и лиры. Итого, для вступительной речи следовало изучить творчество пяти писателей.

Генералу Морейре нравился этот классик XVIII века, автор пространной эпической поэмы в двенадцати песнях, названной «Амазонки» и написанной по образу и подобию «Лузиад» Камоэнса. Нынешние читатели не знали его имени, хоть оно и встречалось во всех учебниках и антологиях: историки литературы венчали его лаврами и спорили о том, был он предтечей романтизма в Бразилии или нет. Во всех школьных хрестоматиях можно было встретить биографию генерала и отрывок из его поэмы — по странному совпадению всегда и один и тот же. Поэма, написанная классическим португальским языком, ласкала слух автора «Языковых пролегоменов», однако Морейра не соглашался с теми критиками, которые находили в «Амазонках» черты романтизма — романтики, по мнению генерала, обращались с португальским языком крайне небрежно, творение же классика было написано с безупречной правильностью.

Поглаживая старинный фолиант — гордость академической библиотеки, — Морейра по очереди наслаждался всеми двенадцатью песнями, читая верному Сабенсе — чего не стерпишь ради любви?! — страницу за страницей. Генерал сожалел, что раньше не был знаком с этой жемчужиной отечественной классики. «Вы, друг мой, конечно, не раз читали „Амазонок“, мне кажется, в вашей „Антологии португальско-бразильской литературы“ я видел отрывок...» Сабенса согласно кивал, совершая двойной обман: о, разумеется, он много раз читал поэму, но властный, воинственный, мужественный голос генерала придаёт безупречным строфам особое очарование. На самом же деле Клодинор и в руки не брал «Амазонок», что характеризует составителя антологии не с лучшей стороны, а просто-напросто привёл отрывок, напечатанный во всех хрестоматиях. Он был не одинок: в самом деле, если какой-то добрый человек когда-то уже взял на себя труд выбрать отрывок, то зачем, спрашивается, другим блуждать по двухсотстраничному дремучему лесу туманного и выспреннего эпоса?.. Голос Морейры, как колокол, гудел в ушах Сабенсы, а сам он видел перед собой пленительный образ Сесилии и грезил наяву.

Генерал Морейра рассчитывал, что чтение его речи займёт около двух часов — это страниц тридцать пять — сорок, из которых три будут посвящены автору «Амазонок». Кандидат в академики сознавал, что память о классике и его поэма требуют большего внимания, но ядром речи должен стать разбор произведений трех генералов, занимавших это место до абсурдного избранил Антонио Бруно. Морейра вгрызался в труды своих предшественников так же отважно, как когда-то ходил в атаку. Это был настоящий пир интеллекта.

Первый генерал оставил потомкам только один, и довольно тощий, томик в сто двенадцать страниц, который назывался «Знаменательные даты в истории бразильского народа». Под одной обложкой были собраны его речи на различных годовщинах — главным образом по случаю побед, одержанных бразильскими войсками во времена Империи. Тем не менее, речей хватило на то, чтобы их автор, многозвёздный генерал, вошёл в число членов-учредителей Бразильской Академии. Этот симпатичный старик прожил на свете больше девяноста лет: скупо писал, зато щедро помогал новорождённой Академии, когда она была ещё бедна и никому не внушала доверия.

Его преемником стал другой генерал, который, напротив, оставил после себя обширную библиографию, но умер через несколько месяцев после того, как стал академиком. Он был чрезвычайно плодовит: сочинил восемь толстых томов о войне в Парагвае[[28]](#footnote-28), четыре тома о Цисплатинском конфликте, не успев дописать исследование о войне против аргентинского диктатора Росаса: в свет вышел только первый том задуманной серии, а два других остались ненапечатанными. Не напечатаны они и по сей день. Морейра читал некоторые из этих книг и очень высоко их ставил. Оп утверждал, что памфлет «Тиран Лопес» очень близок его собственным работам: их сближает одно чувство — пламенный (и слепой) патриотизм.

Третий генерал был известен не только как автор серьезных и очень любопытных исследований о языках, обычаях, верованиях амазонских индейцев. Это была личность почти легендарная: он пересекал дремучие леса, переплывал реки, пробирался через топкие болота, проникал к индейским племенам, которые никогда не видели белого человека. И сочинения его, и поступки были озарены светом истинного гуманизма: он относился к дикарям с симпатией и уважением. Антонио Бруно, говоря о нём в своей речи при вступлении, назвал его поэ­том — «не столько книги его, сколько сама жизнь есть воплощение подлинной и высокой поэзии».

Поразмыслив над книгами и судьбами трёх генера­лов, Валдомиро Морейра придумал заглавие, под которым решил опубликовать свою речь, это краткое, но об­стоятельное исследование: «Бразильская армия в Бразильской Академии».

На долю Антонио Бруно, который всегда казался генералу поэтом, лишенным мужественности и нравственных устоев, пришлось в речи чуть больше страницы. И то много! Но, как сказал бы этот распущенный виршеплёт, перепевавший французов: «Noblesse oblige»[[29]](#footnote-29).

Генерал пролистал сборники стихотворений и очерков покойного Бруно и остался недоволен как поэзией, так и прозой. Бруно употреблял верлибр (он им злоупотреб­лял!), пренебрегал строгим размером и точной рифмой, а без этого — что же за стихи?! Зачастую темно по смыслу, туманно... Сюрреализм! Не образ, а иероглиф. Не чувствуется работы над словом. Множество галлицизмов.

Генерал присутствовал на возобновлённом спектакле по пьесе «Мери-Джон» — его пригласил академик Родриго Инасио Фильо — и нашёл, что пьеса эта легкомысленная и банальная. Ну а что касается «Песни любви покорённому городу», то Бруно, если и вправду хотел создать воинственную песнь, призывающую к борьбе, должен был взять за образец «Лузиады» или по крайней мере «Амазонки» — в них черпать вдохновение. Вывод генерала Морейры был таков: Антонио Бруно — дутая величина, пустоцвет, погремушка. Разумеется, он не собирался высказывать своё мнение с трибуны — традиция Академии требовала, чтобы преемник воздал предшественнику хвалу без всяких оговорок.

Однако никто не мог помешать генералу неодобрительно отзываться о легкомысленном барде в частных разговорах во время двухнедельных напряженных трудов в библиотеке Малого Трианона.

Изюминкой речи будет мысль о том, что место, со дня основания Академии принадлежавшее армии, ныне снова занимает представитель вооруженных сил. Славная традиция восстановлена. Бруно был нелепым исключением из замечательного правила.

Одни академики поддакивали, давая болтливому генералу выговориться, другие слушали молча — Морейра воспринимал и то и другое как одобрение и согласие. Единственный кандидат может позволить себе роскошь не скрывать своих взглядов. Антонио Бруно в речи генерала Валдомиро Морейры представал штафиркой сомнительных нравственных качеств, затесавшимся в общество безупречных генералов.

### БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА

Дона Мариана Синтра да Коста Рибейро направляется туда, где в штофном кресле сидит в углу библиотеки местре Афранио Портела. Оттуда хорошо видна склонившаяся над столом фигура генерала Морейры. Афранио просит извинения и под тем предлогом, что свет бьет в глаза, садится спиной к претенденту. Потом достаёт из папки пожелтевший ломкий лист бумаги. Вверху — инициалы поэта, под ним — аккуратными, почти рисованными буквами выведено название стихотворения: «Рубашка». Местре Афранио протягивает листок даме, которая два может справиться со своим волнением:

— Вот он. Я храню его как святыню. У каждого свои реликвии, не правда ли?

Глаза доны Марианы влажнеют, по щеке скатывается слеза: гостья не смахивает её.

— Последняя его мысль была обо мне... Столько лет прошло, а он не забыл...

Тогда, на панихиде Бруно, местре Афранио поздоровался с нею — она молча стояла в кругу друзей покойного поэта. В осанке этой дамы чувствовалась порода, а в огромных глазах — давняя затаённая грусть. Время не пощадило её красоту, посеребрило волосы. Местре Афранио слышал, как она вздыхала: о чём думала эта женщина, какие воспоминания не давали ей покоя?

Потом они не виделись несколько месяцев, а вчера раздался междугородный звонок — большая редкость в те времена. Дона Мариана звонила из Сан-Пауло и просила принять её. Они условились о встрече в Малом Трианоне, и вот она стоит перед ним, сжимая дрожащими пальцами лист бумаги, слёзы катятся по её щекам, и голосе слышатся еле сдерживаемые рыдания. Но дона Мариана берёт себя в руки — это она умеет — и говорит:

— Когда ему исполнилось двадцать лет, мы устроили праздник, который продолжался целые сутки. Мы отправились в ювелирный магазин, и я подарила Бруно часы — он вечно опаздывал на свидания. Мне уже шёл тридцать третий год, Антопио называл меня бальзаковской дамой, но он вовсе не хотел меня обидеть — напротив. — Она улыбнулась сквозь слёзы.

Местре Афранио быстро прикинул в уме: на двенадцать лет старше Бруно... значит, сейчас ей примерно шестьдесят шесть. Не скажешь... Она выглядит даже моложе, чем четыре месяца назад: исчезли мешки под глазами.

Словно отгадав его мысли, дона Мариана произносит:

— Да, мне шестьдесят шесть лет. Я не могла встретиться с вами сразу после похорон Бруно, потому что в Сан-Пауло легла в клинику для маленькой пластической операции. Я это сделала по просьбе Алберто — он любит мои глаза, и я убрала мешки, которые их портили.

Алберто да Коста Рибейро — это её муж, один из финансовых магнатов, кофейный король, крупнейший предприниматель, латифундист, экспортёр. Местре Афранио давно знаком с ним: отец Алберто был компаньоном его тестя.

— Пока не исчезли рубцы, я не могла показаться на людях и жила всё это время в нашем поместье в Мато-Гроссо. Там так хорошо... Тихо... А третьего дня мне в руки попал старый номер «Карреты» со статьей Перегрино Жуниора, и я узнала, что перед смертью Бруно написал на листке бумаги слово «Рубашка». Перегрино считает, что это заглавие стихотворения. Вы не можете представить себе, как я разволновалась! В смертный час Бруно думал обо мне, вспоминал свою «бальзаковскую даму»!..

— Это и вправду заглавие стихотворения? — скромно любопытствует местре Афранио.

— Он не успел написать его. — Дона Мариана поднимает голову, чуть сощуривает глаза («...глаза твои речной воде подобны», — писал когда-то Бруно). — Он так гордо именовал своей студией мансарду на шестом этаже маленького студенческого пансиона на бульваре Сен-Мишель. Пансион сохранился и по сей день на углу улицы Кюжа и Бульмиша. Я думала, что встреча с Антонио сломает мне жизнь, а вышло как раз наоборот. — Она глядит в сочувственное лицо Афранио. — То, что я вам скажу, звучит нелепо, но это чистая правда: Антонио Бруно спас мой брак, это он сделал меня верной и любящей женой.

Ох, эти женщины, любившие Бруно! Все как на подбор — воплощённая тайна, от них голова идёт кругом: ничего не поймёшь, как ни старайся. Какой роман можно было бы написать!..

— Я очень хорошо запомнила то утро — всю неделю перед этим было пасмурно, небо хмурилось. Когда я проснулась и протянула руки к Антонио, он стоял возле кровати и смотрел на меня с каким-то восторженным выражением на лице. Я... на мне ничего не было... Он улыбнулся своей улыбкой мальчишки-сорванца — помните эту улыбку? — и сказал: «Ты одета в солнечный свет... Я напишу об этом стихи». В то утро он не успел написать, я не дала... Отложил... А перед смертью вспомнил. Вспомнил обо мне!..

Рыдания заглушают её слова. Она зажимает рот платком, с трудом сдерживается — светская женщина должна владеть собой.

— Давайте поменяемся. Отдайте мне этот листок, а я подарю вам нечто гораздо более ценное. Мне же делать с этим нечего.

Она открывает дорожную сумку и достает оттуда школьную тетрадь.

— В эту тетрадь Антонио написал для меня венок сонетов. К сожалению, они, что называется, не для печати — во всяком случае, не для массового издания. Я подумала, что вы могли бы заказать несколько десятков экземпляров с иллюстрациями... У Алберто много подобных книжечек по-французски и по-английски. Рисунки мог бы сделать Ди Кавальканти, он очень дружен с моим старшим сыном Антонио... — произнеся это имя, она чуть медлит и потом добавляет: — Он вылитый отец.

Афранио начинает перелистывать тетрадку.

— Прошу вас, — говорит дона Мариана, — не сейчас: после того, как я уйду. Я понятия не имею, во что обойдётся такое издание, но если вы возьмётесь за это дело, готова оплатить все расходы. А потом, когда книжка выйдет, пришлите мне, пожалуйста, экземпляр.

— Я всё сделаю, будьте покойны, и возьму все расходы на себя. Где сейчас Ди?

— В Лиссабоне вместе с Антонио — война выгнала их из Франции. Помимо прочего, Антонио унаследовал от отца и страсть к Парижу. Он проводит там больше времени, чем в Сан-Пауло. Сейчас они ждут парохода в Бразилию.

— Как мне распорядиться рукописью?

— Вы можете подарить её библиотеке Бразильской Академии или Национальной библиотеке — на ваше усмотрение. Держать её у себя я больше не хочу. Я могу умереть. Что будет, если Алберто обнаружит эту рукопись среди моих вещей? Отныне вы один знаете, что сонеты посвящены мне. Это неизвестно даже моему мужу.

На лифте они спустились в холл. Афранио проводил её до такси. Шофер читал известия с театра военных действий. Мариана наклонилась, залезая в машину, и местре Афранио улыбнулся, оценив крутизну её бёдер: не случайно Ди Кавальканти был рекомендован в качестве иллюстратора первой, никому не известной книги Антонио Бруно, написанной ещё до «Танцовщика и цветка» и ещё более вольной. Настоящий уникум, библиографическая редкость.

В библиотеку местре Афранио не вернулся, а пошёл на третий этаж, в архив. Там он залпом прочел пятна­дцать весьма рискованных сонетов под названием «Посвящение в страсть». Подзаголовок гласил: «Венок сонетов — даме из Сан-Пауло, вакханке из Парижа». Дальше шло посвящение: «М. — моей Марии Медичи».

Дочитав до конца, Портела вернулся к началу и медленно произнёс про себя строфы первого сонета, наслаждаясь их звучанием, словно ароматом выдержанного вина:

— Бёдрам твоим позавидует даже Венера...

### БЫВШАЯ КРАСАВИЦА

### I

«Бракосочетание отпрысков двух старинных семейств», «слияние двух крупнейших капиталов» — сообщали газеты, пространно информируя читателей о свадьбе Марианы д'Алмейда Синтра и Алберто Косты Рибейро. И всё же это был брак по любви — молодожены по-настоящему любили друг друга, что не так уж часто встречается в высших сферах нашего общества, где чувствами управляют деньги.

Мариана — высокая, пышнотелая, златовласая, казалось, сошла с картины Рубенса (так писал о ней снедаемый страстью поэт Менотти дель Пикшиа), её прозрач­ные, как две огромные капли, романтические глаза были всегда устремлены в какую-то неведомую даль. Алберто — рослый, широкоплечий, смуглый красавец, прославленный спортсмен, неизменный победитель всех конкуриппиков, знаток лошадей и коннозаводчик, член Жокей-клуба и совладелец отцовской фирмы. Фирма же эта помещалась в Сантосе и занималась экспортом кофе: это она распоряжалась на бирже, то повышая, то понижая курс кофейных акций и лопатой загребая деньги.

Оба семейства владели плодороднейшими землями в штате Сан-Пауло, на которых выращивались самые дорогие сорта кофе. На пастбищах Мато-Гроссо нагуливали вес тысячеголовые стада.

Когда молодые отправились в трёхмесячное свадебное путешествие, Мариане было двадцать, Алберто — два­дцать пять. Медовый месяц затянулся на четыре с лишним года: приёмы, балы, празднества, прогулки, путешествие в Аргентину, в Соединенные Штаты, в Европу.

Потом всё изменилось. После смерти отца Алберго, старшему в семье пришлось одному управлять фирмой и плантациями — мать в дела не вмешивалась. Раньше старик все решения принимал единолично, Алберто только помогал ему делом и советом, высказывал свои соображения, большую же часть времени проводил с женой, преданно и любовно выполняя малейший её каприз, с готовностью предупреждая все её желания. «Ах, если бы он не был так деловит в постели», — думала иногда Мариана, тело её томилось от неудовлетворённого желания, о котором Алберто даже не подозревал, потому что стыдливая Мариана ничем и никогда его не обнаруживала. Их супружеская жизнь текла скучновато и размеренно — Алберто не был склонен скрашивать её прелестью разнообразия или особой пылкостью. Для того и для дру­гого существовали в Рио и Сантосе француженки.

Постепенно бесконечные дела и лихорадка бизнеса стали поглощать целиком и время, и мысли Алберто, и Мариана увидела, что занимает в его жизни второстепенное место. Муж стал ещё более тороплив и озабочен. Канули в прошлое дни счастливой праздности и весёлых путешествий: Алберто продолжал колесить по свету, но теперь это были утомительные и краткие деловые поездки. Он ещё появлялся в обществе — эти выходы в свет были особенно милы Мариане, — но неохотно, через силу: работа и ответственность тяжким грузом лежали на его плечах. Он продолжал изредка посещать ипподром, но давно уж не ставил рекордов, не покровительствовал жокеям. Конным заводом занимались теперь младшие братья.

И вот через двенадцать лет после чудесного праздника бракосочетания Мариана обнаружила, что семейная её жизнь зашла в тупик. В один несчастный день, когда с утра лил дождь и одиночество стало совсем нестерпимым, Мариана, устав от пренебрежения и равнодушия мужа, который, как ей казалось, разлюбил её, решила разводиться. Детей у неё не было, а жизнь всё больше становилась никому не нужной, бессмысленной жертвой и сулила только новые унижения и горечь. Случалось, что Алберто по месяцам не заходил к ней, а когда они переехали в новый особняк, выстроенный по проекту Варшавчика, то еще больше отдалились друг от друга.

Она сообщила мужу о своём намерении. Алберто не мог опомниться от удивления, он был поражен. «Ты с ума сошла? Зачем нам разводиться, ведь мы так любим друг друга и так славно живём! А может быть, ты меня разлюбила?..» Нет, Мариана по-прежнему любила Алберто, быть может, и он её любил, но какое это имело значение, если они почти не виделись, крайне редко ходили в кино, в театр или на какое-нибудь торжество?! «Ты помнишь, когда в последний раз стучался в дверь моей спальни? Два месяца назад!»

Алберто защищался. Мариана сама настояла на отдельной спальне, и его очень задело это безразличие и равнодушие. Взаимному охлаждению немало способствовало и то, что детей у них не было, хотя они страстно мечтали о ребёнке. Мариана ходила по врачам, прошла курс лечения, но это ни к чему не привело. Однако и Ал­берто не был виноват — он тоже проконсультировался у специалиста. Они всё больше отдалялись друг от друга, и Мариана начала тосковать. Она была истинной женщиной, созданной для любви — любви же не получала... Слишком гордая, чтобы жаловаться, закованная в броню светской сдержанности, она страдала молча и продолжала настаивать на разводе. Но Алберто обожал жену и не представлял себе жизни без неё. Он предложил компромисс: старшая сестра Марианы Силвия, овдовев два года назад, жила теперь в Париже, снимая целый этаж на Елисейских полях. Почему бы Мариане перед тем, как совершить непоправимый шаг, не провести с ней несколько месяцев? Полгода супружеских каникул. Если они выдержат этот искус и смогут жить друг без друга, то он согласен на развод. Если же нет, они попробуют предпринять новую попытку восстановить свой брак. Как знать, а вдруг после шести месяцев разлуки всё станет как прежде? Кроме того, братья Алберто уже работали в фирме, и средний оказался толковым малым. За это время Алберто постарается переложить на плечи братьев часть груза, который он до сих пор нёс один. Мариана согласилась: в глубине души она и сама не хотела разлучаться с мужем.

...На пирсе Алберто помахал ей на прощанье. Забившись в каюту английского пакетбота, Мариана проплакала весь путь до Марселя. Больше месяца она в Париже жить не собиралась, а остальные пять хотела провести в самом дальнем своем имении, находившемся в штате Мато-Гроссо, на самой границе с Парагваем.

###### II

Перебравшись в Париж, Силвия вместе с траурной вуалью оставила в Сан-Пауло все заботы и обязанности. Семейные дела не интересовали её теперь вовсе. Никто не сказал бы, что она на восемь лет старше Марианы. В Париже она вновь обрела молодость.

— Ах, моя дорогая, всю жизнь я была в самом настоящем рабстве у мужа и сыновей. А теперь муж умер, дети выросли, скоро получат диплом, денег у них сколько угодно, и во мне они не нуждаются. Так что — да здравствует Париж!

Это она представила Бруно Мариане.

— Тебе нужен человек, который сопровождал бы тебя на прогулках, в театр, в ресторан, танцевал бы с тобой. Через две недели в Гранд-Опера бал-маскарад, тебе необходимо заказать себе костюм. Для этого, как, впрочем, и для всего остального, без жиголо не обойтись. Я знаю одного молодого человека, который тебе подойдёт. Он хо­рош собой и пишет стихи.

— А у тебя... есть такой?

— Честно говоря, у меня таких двое. Маленький Жан и большой Андре — они отличаются друг от друга ростом и всем прочим. Я люблю разнообразие.

— Но я-то не люблю разнообразия: для меня существует только один мужчина — Алберто.

— Вот потому, что ты однолюбка, я и рекомендую тебе Бруно. Его зовут Антонио Бруно — студент, поэт и баиянец. Чего ещё желать? Лучше его никто не ухаживает за дамами.

— Ты тут совсем сошла с ума! Я хочу не изменить мужу, а забыть его.

— А кто говорит об измене? К чему трагедии? Бруно будет лишь сопровождать тебя, гулять с тобой, водить к модистке, в ресторан. Он станет твоим пажом. А уж дальше — только если ты сама захочешь и не сможешь сопротивляться.

Мариана сопротивлялась ухаживанью, чарам, стихам Бруно больше недели. Она сдалась на девятый день — после костюмированного бала в Гранд-Опера.

В течение восьми дней, предшествовавших этому, она в обществе нежного и дерзкого Антонио — Мариана никогда не называла его Бруно — открывала для себя Париж, так непохожий на тот город, что представал перед ней раньше, в первый приезд. Ходила в музеи, соборы, изучила во всех подробностях Нотр-Дам и постепенно полюбила и поняла прелесть этого очаровательного города, прониклась его духом, перестала чувствовать себя там любопытствующей иностранкой. То с Жаном, то с Андре, но неизменно с Силвией они ночами напролёт веселились в бистро и ресторанах, кафе и кабаре — танцевали, смеялись, пили шампанское. Бруно шёптал ей нежные признания, читал свои стихи. Влюбился ли в неё этот красивый и нежный, беспечный и взбалмошный юноша? Тонким смуглым профилем он напоминал Мариане мужа — того юного и отважного Алберто, который брал барьеры на скачках, но Алберто безумного и поэтичного. Антонио украдкой целовал её во время танца — ах, как он танцевал! — и во время прощаний на рассвете, когда совершенно потерявшая стыд Силвия уходила с тем, кто состоял при пей в этот вечер. Однако дальше поцелуев дело не шло.

Вспомнив комплименты Менотти, Мариана надела на маскарад костюм Марии Медичи, в котором та изображена на картине Рубенса. Надела костюм? Мариана стала подлинной Марией Медичи и королевой бала. Бруно, как и в прошлом году, нарядился арлекином. Тяжёлые юбки роброна мешали Мариане быть достойной партнёршей Бруно в матчише, но сам он выделывал такое, что все остальные прервали танец и стали рукоплескать. Силвия воспользовалась успехом сестры и улизнула — на этот раз с Андре.

Когда забрезжил рассвет, Мариана — королева и ра­быня — обнаружила, что она, хмельная и забывшая обо всём на свете, преодолела шесть маршей крутой лестни­цы с выщербленными ступенями и лежит в постели юного танцора, бродяги, жиголо, Франсуа Вийона из тропиков — так любил со смехом называть себя Антонио Бруно.

Когда роскошное тело Марианы простёрлось рядом с ним, Бруно охватило неукротимое желание. Ни одна женщина не сопротивлялась ему так долго, никого не приходилось соблазнять так упорно, пуская в ход всю науку обольщения. Мариапа словно испытывала его терпение — на комплименты и признания она отвечала рас­сказами о том, какой у нее замечательный муж. Прошли все сроки: искушенный покоритель женских сердец был уже готов признать себя побеждённым. Нестерпимое унижение! И вот теперь, в клочья разодрав пышное ко­ролевское платье, разорвав накрахмаленные нижние юбки, оставив на королеве лишь затканный золотом корсаж и кружевной воротник, он овладел ею яростно и почти грубо. Это был настоящий смерч.

Когда первый порыв миновал и Бруно почувствовал, что начинающая прелюбодейка трепещет и стонет от впервые испытанного наслаждения, ему открылась трагедия этой женщины, тело которой, созданное для нескончаемого любовного праздника, было обречено томиться на скучном супружеском ложе богатого бизнесмена. Алберто, о котором она без устали рассказывала, мог быть и непревзойдённым наездником, и победителем всех турниров, и красавцем, и мультимиллионером — кем угодно! — но в главном деле, определяющем всё остальное, он, как легко догадался Бруно, был в высшей степени зауряден.

Овладев Марианой — в сущности, он изнасиловал её, словно какой-нибудь апаш, — Бруно принялся раздевать её: не торопясь, не жалея времени, он снимал с королевы одну часть туалета за другой, медлил, задерживался — и наконец добился своего. Мариана воспламенилась и вздрогнула от неведомого прежде ощущения. Тогда, на рассвете их первого дня, впервые прикоснувшись к этому телу, созданному, казалось, кистью Рубенса, Бруно, любовник по профессии и по призванию, увел Мариану от торопливой обыденности к утончённой любовной игре, к разнообразию и полной свободе, которая прежде казалась ей предосудительной и запретной; показал ей, чем может стать умелый поцелуй и искусное прикосновение. И вот она предстала перед ним совсем обнажённой — он увидел её огромные прозрачные глаза, её высокую грудь, её крутые бедра — круп кобылицы, с которой не совладал прославленный наездник Алберто...

Мариана была несведуща, но старательна. Она ответила Бруно мгновенно и бурно — казалось, началось извержение спавшего вулкана: в поднебесье взметнулось пламя, по склону потоком хлынула горячая лава. Убогий чердачок на шестом этаже наполнялся вздохами любви и всей музыкой страсти, запахами удовлетворённой и про­должающей жаждать плоти, женского тела, мужского пота. Его озарял свет, вспыхнувший в глазах Марианы — от слёз они казались ещё больше. Так началась эта вакханалия, длившаяся три месяца.

Три месяца Мариана стремилась наверстать упущенные годы. Три месяца она отдавала себя без остатка: ей ничего теперь было не надо, кроме этой мансарды, кроме этого баиянского мальчишки-поэта — должно быть, сам «Bon Dieu de France»[[30]](#footnote-30) послал его, избрав своим орудием по-родственному щедрую Силвию. Мариана осыпала его подарками, ловила каждое его слово, каждое четверостишие. Она была заласкана, залюблена, зацелована — каждая ночь приносила с собой новые откровения, новые ощущения, новый вкус. Говорили они только по-французски: на этом языке непристойностей нет. Бруно читал ей эротические стихи Бодлера, Верлена, Рембо, Аполлинера и тут же иллюстрировал смелые поэтические образы. Мариана заучивала эти строки наизусть и, вспомнив уроки французского в коллеже при монастыре Des Oiseaux, повторяла их. Как прекрасно было засыпать в объятиях Бруно и просыпаться от умелых прикосновений его пальцев и губ.

Жиголо и бальзаковская дама, авантюрист и вакхан­ка, непреодолимая тяга и непобедимое желание, зов и страсть, голод и жажда. Не довольствуясь чужими стихами, Бруно сочинил для Марианы венок сонетов, каждый из которых воспевал какую-либо часть ее божественного тела. В рифмованных строчках легкомысленных стихов он рассказывал о том, как на бульваре Сен-Мишель любили друг друга Франсуа Вийон из Баии и Мария Медичи из Сан-Пауло.

###### III

Но роман этот не сводился только к радостям взаимного обладания. Любовь их укреплялась и углублялась в нескончаемых беседах на набережной Сены, за столиком бистро в Сен-Жермен, на скамейке Люксембургского сада. «Этот сад — твой дворец», — говорил Бруно. Мариана поведала ему все свои радости и печали, пересказала всю свою жизнь — и детские мечты в монастырском коллеже, и первый бал, и то, как она, разборчивая невеста, наследница миллионного состояния, отвергала женихов. Рассказала и про встречу с Алберто, про безмерную любовь, замужество, кругосветное свадебное путешествие, медовый месяц, продолжавшийся четыре года, а потом — охлаждение, безразличие, мечты о ребенке, отдельные спальни, Алберто, лихорадочно зарабатывавший деньги, разрывавшийся между Сантосом и Сан-Пауло. Бруно узнал про то, как она в конце концов отчаялась и решила уйти от мужа, тем более что детей у них не было, и о том, как перед окончательным шагом приехала в Париж. Здесь она нашла Антонио и своё счастье.

Счастье? Была ли она и вправду счастлива или только на миг потеряла голову в этом сладчайшем и порочном вихре? Не всё ли равно? Развод предрешён — теперь она уже не старалась понять, каково ей живётся без Алберто. Она предала его. Всё кончено.

Бруно слушал её с тем нежным участием, которое неизменно — даже в ранней юности — возникало у него, когда он говорил с женщиной, он подхватывал Мариану на руки, заговаривал о чём-нибудь другом, целовал её огромные прозрачные глаза, чтобы отвлечь возлюбленную от печальных дум.

— Ни у одной женщины на свете, моя королева, нет таких прекрасных глаз и таких бёдер.

Он говорил о картинах и канцонах, читал ей сочи­нённое экспромтом стихотворение, но Мариана любой разговор переводила на Алберто, отныне потерянного навсегда.

Однажды вечером, когда они взобрались наконец по крутой лестнице на шестой этаж, Бруно спросил:

— Чем ты так встревожена? Что с тобой?

Мариана достала из сумочки телеграмму:

— Прочти.

Алберто извещал, что в конце следующей недели прибудет во Францию: он не может больше выносить разлуку и дождаться окончания им самим установленно­го срока. Дела фирмы переданы братьям, теперь всё его время принадлежит Мариане. «Жить без тебя не могу», — прочёл Бруно на бланке телеграфной компании «Вестерн».

— Это будет неприятно, да что я говорю, — «неприятно»! — это будет ужасно, но я должна ему сказать, что дальнейшая наша совместная жизнь невозможна, что я ему изменила...

Бруно обнял Мариану и стал раздевать её, убеждая:

— Ты не сделаешь этого, Мария Медичи, ты ничего не скажешь мужу, потому что любишь его, вот единственная истина, в которую я верю. Зачем же ты хочешь причинить ему страдания?

— С чего ты взял, что я люблю Алберто? Любила, так не обманывала бы...

— Ты говоришь о нём всё время, он сопровождает нас как тень, и не будь я таким добродушным парнем, наверняка обиделся бы. Ты не любишь меня — ты просто нуждалась во мне: я дал тебе то, чего тебе не хватало, я открыл тебе наслаждение. Тебя плохо любили до встречи со мной — в этом виноват и твой муж, и ты сама... Разве я не знаю, в какую броню надменности и приличий была ты закована? Я разбил этот панцирь лишь потому, что ты в тот вечер выпила слишком много шампанского... Я взял тебя силой. Я разорвал на тебе платье и обнажил не только тело твоё, но и душу. Раз­ве не так?

— Так... — ответила Мариана. Знал или угадал этот юный мудрец?

— Вот видишь. Ты должна вернуться к мужу, ты должна сделать так, чтобы ваше супружеское ложе стало доказательством твоей любви. Отдай Алберто всё, что ты получила от меня, всё, что я взял у тебя и тебе же вернул. Но пусть это произойдёт в день его приезда! А до тех пор ты моя, и больше ничья. Я никогда не забуду тебя, Мария Медичи да Коста. В мой смертный час я вспомню о тебе. А сейчас не будем терять время! Всего несколько дней отпущено нам для нашего прощанья!

— Да, Антонио, ты прав, я люблю Алберто... Но вернуться к нему не могу всё равно...

Бруно слегка струсил. Неужели она хочет остаться с ним и превратить весёлое, лёгкое и пикантное приключе­ние в постоянную связь, которая хуже брака?

— Помнишь, я говорил тебе... я не могу связать себя надолго ни с кем, я не рождён для постоянства... Я ведь так — временный...

— Не бойся. Я вернусь в Бразилию.

— Хочу о другом тебе сказать: ты создана для того, чтобы быть верной женой, чтобы любить своего мужа. Не верю, что, переходя из рук в руки, ты найдёшь счастье.

— Речь идёт не об этом, Антонио. Выслушай меня: кроме стихов и наслаждения, ты подарил мне ещё и ре­бёнка. Я сразу предупреждаю тебя, что избавляться от него не собираюсь: я много лет мечтала о сыне. Не волнуйся, это произойдёт в Бразилии. Мой сын будет напоминать мне о тебе, о моём временном Антонио.

Лицо Бруно осветилось улыбкой.

— Почему это «мой сын»? Это наш сын, он такой же мой, как и твой!

Целую минуту он о чём-то размышлял, а потом обнял Мариану и поцеловал её в глаза и в губы. Он заговорил серьёзно и раздумчиво, словно в свои двадцать лет был уже умудрён опытом, — так бывает только с поэтами, с теми, кто наделён даром провидения.

— Ведь твой муж тоже хочет ребёнка? Да? Видишь, мы и вправду с ним похожи. Не думай, что я забуду о нашем сыне — я знаю, что у тебя родится сын и ты назовёшь его Антонио. Ты следишь за моей мыслью? Зачем тебе растить ребёнка, рождённого вне брака, одной, без мужа? Ему слишком дорого и долго придётся платить за наше увлечение. Лучше всего для нашего Антонио было бы родиться от Алберто Рибейры да Косты, а я хочу своему сыну самого хорошего. Не кричи, не сердись, обдумай всё не горячась — и ты поймёшь, что я прав. Я хочу дать тебе не только память о наслаждении и сына — я хочу вернуть тебе твоего мужа. Втроём — ты, он и Антонио — вы будете счастливы.

Накануне приезда Алберто, в час прощания, она заплакала и поблагодарила Бруно, а тот сказал, что не забыл о своём обещании написать стихотворение: образ обнажённой Марианы, окутанной розовым шёлком зари, навсегда остался в его памяти.

Мальчик, зачатый на греховном ложе в мансарде отеля «Сен-Мишель», получил при крещении имя Антонио — в честь святого, покровителя брака, к которому с молитвой обратилась Мариана. Чудо произошло в ночь после приезда мужа: она впервые забыла про свою целомудренную сдержанность и отдалась Алберто с требовательной и жадной страстью. Ослеплённый муж про­шептал:

— Я уверен, что ты подаришь мне сына, любовь моя!..

Потом, уже в Сан-Пауло, появились на свет Алберто-Фильо и Силвия, названная в честь тётки, которая всё ещё жила в Париже и возвращаться не думала. У неё всё было по-прежнему, только теперь она чередовала не маленького Жана с большим Андре, а белокурого, за­стенчивого американца по имени Боб — американцы входили в моду — с французом Жоржем: без француза, как ни крути, не обойдёшься...

Местре Афранио Портела, собирая материал для сво­его романа, пришёл к выводу, что в высшем обществе Сан-Пауло нет семейства счастливее. Внимательный и преданный муж, верная и любящая жена. Вместе дожив до старости — через четыре года их золотая свадьба, — Мариана и Алберто доказали, что и среди суетных вели­косветских миллионеров встречается вечная любовь. Этим чудом они обязаны поэтам, ибо там, где речь идёт о любви, поэты — не меньшие чудотворцы, чем причисленные к лику святые.

### ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

За неделю до выборов, в душный январский день 1941 года, когда знойное марево придавило город, словно бетонная глыба, единственный кандидат в Бразильскую Академию получил от Алтино Алкантары два отрадных известия, открывающие перед ним самые благоприятные перспективы.

Первое известие касалось мундира и носило чисто экономический характер. Мундир, расшитый на груди, по вороту и на обшлагах золотыми пальмовыми ветвями, стоит целое состояние, если же прибавить к этому стоимость всей дополнительной академической амуниции — треуголки с золотым галуном и белым плюмажем и шпаги с чеканным клинком, — то ещё раза в полтора до­роже. Алтино Алкантара был приятно удивлен, когда генерал попросил его произнести речь от имени новых коллег на церемонии вступления — он полагал, что этой чести удостоится Родриго Инасио Фильо, один из тех, кто выдвинул кандидатуру Морейры, и, по слухам, интимный друг дома. Алкантара сначала пообещал собрать деньги на великолепное облачение «бессмертного» по подписке среди граждан Сан-Пауло, но вскоре понял, что дело это долгое и хлопотное, хоть генералу, активному участнику боев 32-го года, очень пришлась по вкусу идея коллективной благодарности жителей великого штата.

Алкантара отказался от своего намерения и решил действовать с черного хода, прибегнув к посредничеству своего друга, который был близок с интервентором[[31]](#footnote-31) штата Пернамбуко. Тот оказался в высшей степени любезным человеком и обещал распорядиться о выделения сверхсметных сумм на мундир для славного земляка. Патриотизм взял верх над политическими разногласиями. «Кроме того, — втолковывал интервентор начальнику полиции, — генерал Валдомиро Морейра сейчас отставлен от командования, метит в академики и никакой опасности для Нового государства не представляет. Официальный дар утихомирит его окончательно, так что эти несколько тысяч пойдут на благое дело».

Благодетель Алкантара не только принес генералу эту радостную новость, но ещё и нарисовал ему картину единогласного избрания. Генерал был уверен, что Лизандро Лейте проголосует «против», и этого будет достаточно, чтобы нарушить столь редко встречающееся па выборах единодушие — по пальцам одной руки можно было перечислить академиков, удостоившихся такой чести.

Алтино Алкантара, закулисный политик, владелец одной из самых знаменитых адвокатских контор Сан-Пауло, представлявшей интересы «Португальского банка в Бразилии» и крупных промышленников, после того как в 1937 году правительство разогнало парламент, крайне редко появлялся в Рио-де-Жанейро и ещё реже — в Академии. Он был единомышленником генерала Морейры, но скрывал своих симпатий к нему, собирался поздравить его от имени коллег — генерал не делал тайны из своей просьбы, — и потому ни партизаны Эвандро, ни сторонники полковника Перейры во главе с Лизандро даже не намекали ему, что избрание генерала — дело довольно сомнительное, считая эти разговоры пустой и бессмысленной тратой времени. Однако во время одного из редких приездов Алкантары президент Эрмано де Кармо посетовал на достойный сожаления поступок кандидата, который открыто сообщил о том, что не станет наносить визит Лизандро Лейте, нарушив тем самым протокол. Подобный шаг не вызовет одобрения среди академиков.

Перед отъездом в Сан-Пауло Алкантара вручил гене­ралу свой голос, поскольку на самый день выборов у него была назначена совершенно неотложная деловая встреча, которая воспрепятствует его личному участию в голосовании. Алтино попросил извинения за то, что не сможет поздравить нового академика, его почтенную супругу и очаровательную дочь со столь знаменательным событием. Кроме того, он воспользовался случаем и посоветовал кандидату вести себя с Лизандро более гибко, и прежде всего — не быть столь непреклонным в отношении визита.

— Простите меня, друг мой, но здесь затронута честь бразильской армии, генералом которой я являюсь, и моя честь.

Ловкий Алтино нашел выход — он всегда находил выход из любого затруднительного положения.

— Я понимаю, что вы не хотите идти к Лизандро. Сделайте так: оставьте свою визитную карточку у швейцара. Такие случаи бывали. Может быть, тогда Лизандро не станет голосовать против вас, а всего лишь воздержится — и вы будете избраны единогласно.

Последний аргумент подействовал, и генерал дрогнул:

— Вы поговорите с ним?

— Я пришлю ему письмецо из Сан-Пауло.

— Хорошо. Я завтра же завезу Лейте свою карточку.

Последовав совету Алкантары, он после слов «Генерал Валдомиро Морейра» приписал на визитной карточ­ке: «приветствует академика Лизандро Лейте». Генерал надеялся, что каналья юрист оценит этот шаг и воздержится от голосования. Выборы увенчаются единогласным избранием, и генерал окажется среди двух-трех счастливцев, которые обычно не упускали возможности похвалиться этим редкостным отличием.

### КАВАРДАК

Кавардак! Этим словом генерал Валдомиро Морейра пытался примерно определить то, что творилось в его доме в последний январский четверг — день, когда в четыре часа пополудни тридцать девять членов Бразильской Академии соберутся на последнее в этом году заседание, чтобы избрать преемника поэта Антонио Бруно, скончавшегося около четырех месяцев назад. Бывало, что соперничество претендентов становилось таким острым, что никому из них не удавалось набрать нужного числа голосов. Но если на место в Академии претендует только один кандидат, этого можно не бояться.

Кавардак! Слово это было незнакомо доне Консейсан, но, послушав объяснения полубессмертного лингвиста, она готова согласиться: ничего подобного не выпадало ей на долю — ни в девичестве, ни в супружестве. Адская работа, чудовищная ответственность!.. Генеральша, как угорелая кошка — сравнение принадлежит её мужу, — мечется по дому, отдавая приказания, распределяя поручения. Вот она влетела в кладовую, где Сесилия и Сабенса чистят и нарезают фрукты для крюшона, время от времени, когда никто не видит, обмениваясь поцелуями — счастливый день!

— Как вы думаете, сеньор Сабенса, неужели придёт больше пятидесяти человек?

— Да что вы, дона Сейсан! — Сабенса любит уменьшительные имена — это знак уважения и родственной близости. — Какие там пятьдесят! Вы ещё не осознали всей значительности события! Стать членом Бразильской Академии — это высшее отличие для человека, посвятившего себя словесности. Рассчитывайте на сотню гостей, самое малое.

— Ах, боже мой, значит, надо заказать побольше пи­рожков с мясом и жареных куриных ножек — ещё по двадцать того и другого... Позвони сеу Антеро, Сесилия.

— Не беспокойтесь, дона Сейсан, я позвоню.

Сама услужливость этот сеньор Сабенса... Если Сесилии суждено вновь выйти замуж — к мужу она не вер­нётся, даже если б и захотела: он её не примет — и бу­дет прав, — то пусть её избранником станет такой, как Клодинор: не мальчишка — ему около сорока, — прилич­но зарабатывает в газете и в гимназии, разведён: через три месяца после свадьбы жена сбежала от него со своим старым любовником (Сесилия и то вытерпела целый год). А кроме того, Клодинор в свои сорок лет уже член Академии, второразрядной, как говорит Морейра, но это он сейчас так говорит, а перед тем, как к нему явилась делегация «бессмертных», сам до смерти хотел туда попасть...

Ох, сейчас ей не до устройства судьбы дочери, не до размышлений о достоинствах Сабенсы — на всё вопя божья... Клодинор уже позвонил сеу Антеро, поручение исполнено. Дона Консейсан, прежде чем вернуться на кухню в ставку главного командования, воскли­цает:

— Такие расходы, такие расходы... Окупится ли это?..

На кухне жарятся горы пирожков с треской и другой начинкой. Всем распоряжается Эунисе — неизменная палочка-выручалочка семейства Морейра с незапамятных времен: в расчете на то, что генерал не оставит их своими милостями, ей помогают две её кузины и своячени­ца. Одна из этих добровольных помощниц, специалистка по сластям, хлопочет над ватрушками, слойками, «тещиными глазами» и прочей сдобой. Дона Консейсан мимоходом снимает с блюда верхний кренделек — объеденье! В очаге румянится огромный окорок; индейка и кабанья нога уже готовы. Сеу Арлиндо занимается напитками. После завтрака пришёл официант, рекомендо­ванный соседом, — дорого берёт, но без него не обойтись. Дона Консейсан не знает только, следует ли удержать с него стоимость хрустального бокала, который официант расколотил, когда мыл посуду. До слёз обидно — бокал был из дюжины, подаренной им с мужем на свадьбу... Кроме крюшона, прохладительных напитков и пива, припасены еще три бутылки шотландского виски и две бутылки французского коньяку — всё это стоит бешеных денег, но Сесилия, осведомленная о дурных привычках академиков, была неумолима:

— Виски и коньяка должно быть в избытке. — Именно так обстояли дела с этими напитками в гарсоньерке Родриго. — И пожалуйста, не вздумай купить нашего — он как дёготь!

Дона Консейсан схватилась за голову, но делать было нечего. Счёт в банке, где лежали многолетние сбережения четы Морейра, сильно сократился. Сесилия потребовала, чтобы платья для сегодняшнего вечера и для церемонии вступления в ряды «бессмертных» шились у доны Дины Амаду, ибо знала, что жёны академиков заказывают туалеты только у неё... Четыре платья и две шляпы обойдутся в фантастическую сумму — дона Дина дерёт со своих клиенток семь шкур.

Дона Консейсан, проинспектировав кухню, дает ука­зания Косме, бывшему ординарцу генерала Морейры, сменившему военную службу на более мирное и не менее выгодное занятие — он продает лотерейные билеты. Косме был призван под знамёна позавчера, на его долю достались трудоёмкие операции — установить козлы для стола, перетащить от соседей столы и стулья, натереть пол.

— Паркет должен блестеть как зеркало.

Не забыть бы о лекарстве для Морейры! Кардиолог, пользующий генерала, нашел, что давление у него в последнее время подскочило, и прописал ещё одно снадобье. Генерал, хоть и выглядит совершенно спокойным, на самом деле очень волнуется. Дона Консейсан знает, что муж её властен, но не груб, и есл-и уж он обозвал жену угорелой кошкой, значит, нервы у него напряжены до последней степени.

Дона Консейсан снова оказывается в кладовой, едва не застигнув дочь и Клодинора за прочувствованным нескончаемым поцелуем — счастливый день!

— Сесилия, брось фрукты, этим займётся сеу Арлиндо. Ступай на кухню, помоги Эунисе. Ещё нужно прибрать в доме. А вы, Клодинор, пойдите к генералу, раз влеките его немножко.

Сабенса посылает Сесилии влюбленный взгляд, Сесилия отвечает Сабенсе взглядом многообещающим. Дона Консейсан вздыхает: если господь явит милость, может, и кончится свадьбой, а не так, как с другими, на полдороги... Ох, Сесилия, ветер в голове!..

Генералу не сидится в качалке — строевым шагом он ходит из одного угла сада в другой. Неумелый новобранец Сабенса никак не может подстроиться и зашагать в ногу со своим другом и — как знать? — будущим тестем. Они ещё раз детально обсуждают предстоящие выборы, Клодинору надлежит занять позицию рядом с телефоном в холле, который отделяет комнату, где происходит голосование, от гостиной, где академики пьют чай. Как только избрание совершится, он тут же позвонит и доложит о результатах — единогласно или всё-таки затесался один черный шар. Генерал надеется, что Лизандро Лейте удовлетворится визитной карточкой и не подложит ему свинью. Тогда генерал «готов забыть прежние распри и протянуть коллеге по „бессмертию“ руку дружбы» — во всяком случае, так он обещает Сабенсе.

Появляется дона Консейсан с таблеткой и стаканом воды.

— Морейра, прими лекарство. А может быть, тебе сегодня двойную дозу?

— Это ещё зачем? Я превосходно себя чувствую. — Он глотает таблетку, запивает её водой. — К приезду академиков всё должно быть в полной готовности. — Улыбка наплывает на его лицо, обычно такое серьёзное. В знак неслыханного расположения он щиплет дону Консейсан за щеку. — А завтра отправимся к Пене, придворному портному Бразильской Академии. Снимем мерку...

Избрание генерала заставляет и Сабенсу потратиться на новый костюм, но игра стоит свеч: он получит Сесилию в жены, премию Жозе Вериссимо в награду, а там — чем чёрт не шутит — и... Если у тебя тесть член Бразильской Академии, он уж шепнёт словечко кому надо... В доме генерала Морейры среди невиданного кавардака носится дона Консейсан, все сегодня предаются мечтаниям.

### КАНДИДАТ В МИНИСТРЫ

Ренато Мюллер Виейра, посол Бразилии в Мексике, приехал на родину в отпуск как раз накануне выборов. Он стал академиком пять лет назад после жестокой предвыборной борьбы и сейчас должен был впервые голосовать лично. Прежние его наезды в Рио не совпадали с выборами, и он присылал свой бюллетень по почте. Едва получив от полковника Перейры пространную и любезную телеграмму, он тут же обещал ему свою поддержку.

Ренато не был знаком с полковником, хотя, разумеет­ся, слышал о нём. Он ни разу в жизни его не видел и не читал ни единого его творения, о которых велось столько разговоров и споров. Однако посол поторопился отправить Перейре свой голос и поздравления: ведь речь шла о самом влиятельном человеке в правительстве и военных кругах. Полковник мог бы оказать ему поддержку и серьёзно помочь в осуществлении давней мечты: если слухи об отставке министра иностранных дел Освалдо де Араньи подтвердятся, то Ренато вполне мог претендовать на этот пост. После того как Гитлер пришёл к власти, Ренато некоторое время служил в Германии и считал, что это весомый аргумент в его пользу: он был в прекрасных отношениях с гитлеровскими чиновниками и в те времена, когда правители Бразилии подумывали о заключении договора с Гитлером, немало сделал для сближения Нового государства с третьим рейхом.

Ренато был поэтом и романистом: опубликовал полдесятка сборников герметических стихов и несколько романов-ребусов. Критики превозносили творчество Ренато, видя истоки одиночества и тоски, царившие в его книгах, в романах Достоевского, Джойса и Кафки. В романах Ренато не было Бразилии, в его стихах самый проницательный читатель не нашёл бы любви. Из-за того что книги его предназначались самой что ни на есть интеллектуальной элите, их почти никто не читал — не исключая и расхваливавших его критиков, которые, впрочем, не читали также ни Джойса, ни Кафки, в лучшем случае ограничиваясь тем, что перелистывали переводы романов Достоевского, — таково было мнение ехидного драматурга Фигейредо Жуниора. Читали Мюллера Виейру или не читали, но он был дружно провозглашён гением: литературоведы заявляли, что его романы и стихи отражают наш мятущийся век, наш тревожный мир и не знающее пределов насилие — не войну, объявленную им «целебной и радикальной хирургической операцией», а страсть к насилию, изначально присущую природе человека.

Ренато получил телеграмму и от генерала Валдомиро Морейры. Она была весьма лаконична — в отличие от полковника Перейры, имевшего в своём распоряжении «борьбу с коммунизмом», генерал платил свои кровные денежки. Виейра поблагодарил за честь и ответил, что уже дал слово полковнику. Однако после смерти последнего он получил новое письмо от генерала, оставшегося единственным кандидатом, — тот обращал внимание посла на изменившуюся ситуацию и снова просил поддержки. Виейра в ответ сообщил, что после Нового года приезжает в отпуск и будет иметь честь лично подать свой голос за выдающегося представителя нашей армии. Ренато не сказал, разумеется, как сильно опечалила его кончина могущественного полковника Перейры, который с лихвой отблагодарил бы посла за поддержку. У единственного кандидата иных достоинств, кроме звёзд на по­гонах, не было, однако генерал, пусть даже в отставке и в оппозиции к правительству, всё-таки остаётся гене­ралом. В столице Ренато хотел узнать, насколько достоверны слухи о смещении Освалдо де Араньи, и предпринять шаги по выдвижению собственной кандидатуры на пост министра иностранных дел. Он рассчитывал на помощь друзей, близких к главе государства. Всё утро и первую половину дня он провёл в Итамарати, а оттуда отправился в Малый Трианон. Коллеги приняли его с распростёртыми объятиями, в секретариате он получил жетон — это был знак особого расположения президента, ибо Ренато на заседаниях не появлялся — кое-кто во время чаепития прямо прочил ему министерский портфель. Лизандро Лейте, не удовлетворившись объятиями и бесконечными «добро пожаловать», увлек Ренато к окну:

— Пока вам не успели назвать другое имя, хочу сообщить, что наш Раул Лимейра намерен баллотироваться...

— Ректор университета?

— Он самый. Он не только ректор, он закадычный друг Хозяина. Раул может оказать неоценимую помощь.

— Да, но чьё место собирается занять Лимейра? Неужели кто-нибудь умер, пока я летел из Мехико?

— Никто не умер. Раул станет преемником Антонио Бруно.

— Но ведь им станет генерал...

— Это зависит...

— От чего?

— От того, как вы проголосуете. Ваш голос может оказаться решающим. Раул поручил мне переговорить с вами. Он в долгу не останется...

— Я ничего не понимаю. Выражайтесь яснее!

— Пойдемте в библиотеку. Там мы побеседуем без помехи.

### ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Родриго Инасио Фильо — он только что из Петрополиса — вылезает из машины у входа в Малый Трианон и попадает прямо в костлявые лапы Эвандро Нунеса дос Сантоса:

— Счастливец, наслаждался жизнью в горах, пока мы задыхались в этой душегубке!..

Под руку они направляются в секретариат. Родриго просит рассказать ему о ходе событий.

— Ну-с, Пламенный Эвандро, как подвигаются ваши партизанские дела? Это ваш кум Портела подсудобил вам такое прозвище.

— Совсем скоро начнем последнюю вылазку. — Эвадро останавливается посреди холла и со смехом снимает пенсне. — Враг взят в кольцо, сейчас мы его уничтожим.

— Подлое вероломство в высшей степени присуще природе человека, — доверительно сообщает ему Родриго.

— Вы так считаете?

— Да. Ведь это я назвал имя Морейры, когда вы с Портелой никак не могли отыскать подходящего по всем статьям генерала. Я был членом делегации, которая явилась к нему и предложила баллотироваться...

— Я тоже там был. Афранио меня вынудил.

— ...я прочёл книгу, которую он мне прислал...

— Этого ещё не хватало!

— ...я завёл интрижку с его дочерью — прелестное существо, жаль, пресновата немножко... Я стал другом дома, чуть ли не родственником. Исходя из всего вышеизложенного, хочу уведомить, что буду голосовать за генерала — во-первых, у меня хоть совесть будет чиста и спокойна, а во-вторых, не дам вам победить несчастного! Да, подлое вероломство, без сомнения, в высшей степени свойственно человеку.

— Хорош несчастный! Он уже сейчас распоряжается у нас в Академии, как у себя дома, и заявляет, что Бруно — ничтожество и дутая величина! Представьте, что он будет вытворять, когда станет академиком! Шутки в сторону: нам может не хватить вашего голоса. Родриго, одумайтесь! Родриго, вы поступаете против совести! Род­риго, послушайте меня!..

Но Родриго непреклонно идёт к дверям секретариата.

— Изыди, сатана!

— «Прелестное существо»... «Пресновата немножко»... Идите, идите, расплачивайтесь за свои шашни! Об одном вас прошу: не заводите долгих романов, через четыре месяца мы будем избирать Фелисиано. Вам это известно?

— За него я проголосую с большим удовольствием. Бог даст, и пройдет...

— Вы ещё смеете сомневаться? Пока я здесь, никто не сменит погоны на пальмовые ветви. Ни погоны, ни сутану!

— Я вижу перед собой оголтелого антиклерикала...

— Я не антиклерикал, я материалист. У меня множество друзей среди священников — я только не хочу, чтобы Академия провоняла ладаном!

— ...и пацифиста.

— Я демократ! Я дружу и с военными тоже, но не допущу, чтобы они заводили тут казарменную муштру... Место, по традиции принадлежащее вооруженным силам, — нет, вы слыхали что-либо подобное?!

### УРНА

По заведённому порядку старейшина Академии Франселино Алмейда позирует фоторепортёрам — делает вид, что опускает бюллетень в урну. После того как снимки сделаны, журналистов просят удалиться. Двери комнаты, где происходят выборы, запираются.

Старый служитель — седовласый негр, чёрный как сажа, элегантный, как английский лорд, — подносит урну Эрмано де Кармо: президент голосует первым. Потом он до очереди обходит всех присутствующих.

Их немного — это последнее заседание перед каникулами. Большинство «бессмертных» спасается от нестерпимой жары где-нибудь в горах, кое-кто уехал на рождество в родные края и ещё не вернулся. Старый служитель останавливается у каждого кресла, и каждый академик опускает в урну бюллетень. Прежде чем началась процедура выборов, президент подсчитал, сколько писем получено от тех, кто не смог приехать и прислал бюллетень в запечатанном конверте.

Обойдя стол, служитель опорожняет урну. Сейчас начнётся подсчёт голосов. Потом бюллетени сгребут в кучу, служитель обольёт их бензином, чиркнет спичкой и обратит в пепел. Тайна голосования будет соблюдена.

В соседней комнате журналисты и фоторепортеры пробавляются остатками угощения с академическою стола. Обычно во время выборов Малый Трианон запружен народом — в библиотеке, в холле, в залах толпятся приверженцы того или иного претендента. А когда баллотируется один-единственный кандидат, не будет ни борьбы, ни неожиданностей — следовательно, незачем и приходить. И всё-таки кое-кто из любопытных ждет результата. Среди них старый букинист Карлос Рибейра. Когда заседание закроется, генерал повезёт сочувствующих к себе, примет поздравления, накормит и напоит.

Рядом со столиком, на котором стоит телефон, дежурит Клодинор Сабенса — он ждёт той минуты, когда сможет сообщить генералу Валдомиро Морейре, что тот приобщился к «бессмертию».

### СООБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

Сидя в кресле возле телефона, генерал Валдомиро Морейра ждёт той минуты, когда его друг Клодинор Сабенса сообщит ему, что он приобщился к «бессмертию». На кандидате парадный мундир (пока ещё генеральский, а не академический), серьезное лицо его выражает спокойное достоинство. Рядом дочь Сесилия: она хоть и легкомысленна, но искренне привязана к отцу. Дона Консейсан снуёт туда-сюда, делая последние приготовления. Обе в новых, с иголочки, платьях.

Те гости, что пришли разделить с кандидатом радость великого известия, разбрелись по комнате. Тут соседи, ближайшие друзья, бывшие сослуживцы и однокашники. Они любуются накрытым столом, который ломится от солений и печений, от блюд с окороком, ветчиной, индюшатиной. Посвященные осведомлены о кулинарных талантах Эунисе. В саду Арлиндо сооружает импровизиро­ванный бар: ставит кувшины с пивом, чаши с крюшоном, прохладительные напитки, пряча до поры бутылки виски и коньяка — они предназначены для академиков и прочих сиятельных лиц.

Как медленно тянется время!.. Генерал ждёт, гости переговариваются вполголоса, иногда вдруг слышится сдавленный смешок. В дверях появляется дона Консейсан с последним подносом.

— Ещё нет?

В этот самый миг звонит телефон. Генерал снимает трубку. Сесилия раздвигает губы в улыбке. Дона Консейсан замирает.

— Сабенса? Да-да, я. Ну как? Единогласно?

Глаза его вылезают из орбит, челюсть отвисает.

— Что?

Краска заливает лицо, он разжимает пальцы, и теле­фонная трубка падает. Тело генерала оседает в кресле. Дона Конссйсан роняет поднос, пирожки с треской катятся по полу. Она подбегает к мужу, обнимает его.

В телефоне раздается далекое, еле слышное попискиванье — это Сабенса кричит: «Алло, алло!» Сесилия поднимает трубку и говорит севшим голосом:

— Приезжай немедленно. С папой плохо...

— Он умер не вовремя, — говорила потом дона Консейсан. — Ему бы умереть после того, как он остался единственным кандидатом и счёл себя академиком.

### ИЗВЕСТИЕ

Афранио Портела отдал горничной шляпу и трость.

— Доктор Эрмано просил вас позвонить сразу же, как придете: дело очень срочное.

По пути в кабинет местре Портела улыбнулся жене, которая шла к нему навстречу, сгорая от нетерпения. Ожидая, пока президент возьмёт трубку, он поцеловал дону Розаринью и пообещал немедленно удовлетворить ее любопытство.

— Сейчас всё расскажу.

В трубке раздался голос президента.

— Да, Эрмано, это я! Слушаю! — Его рука, лежащая на плече жены, вдруг судорожно сжалась. — Дьявольщина!

Он повесил трубку и постоял несколько мгновений молча и неподвижно. Дона Розаринья взяла его за локоть.

— Что случилось, Афранио?

— Мы убили генерала!

### ВТОРОЙ

Эвандро Нунес дос Сантос вошёл в дом. По обе стороны от него шли внуки.

— Ну расскажи!

— Поскорее, миленький, не тяни!

Старик уселся в своё любимое кресло, закурил.

— Генерал набрал шестнадцать голосов, — начал он, поигрывая пенсне, — четырёх не хватило до победы. Двенадцать человек воздержались, одиннадцать проголосовали против. История с постоянными местами в Академии кончена. Преемником Бруно станет тот, кто этого заслу­живает, — Фелисиано.

— А ты не находишь, что поэты тоже заслуживают постоянного места? — спросила Изабел, страстная поклонница стихов.

Зазвонил телефон. Педро взял трубку:

— Это ваш президент. Наверно, хочет тебя поздравить, он очень взволнован.

— Итак, мы... — начал Эвандро и осёкся. — Не может быть! Да-да, очень жаль... Я согласен, это очень печально. Но война есть война.

Он положил трубку и рассказал внукам о случившемся:

— Узнав о результатах голосования, он умер на месте. Мгновенная смерть.

— Инфаркт?

— Называй как хочешь. Я-то считаю, что генерал был убит.

— Это уже второй. Не забудь про полковника Перейру. Знаешь, дед, для одной драки, пожалуй, многовато...

### ДВА СТАРЫХ ЛИТЕРАТОРА

Два старых и знаменитых литератора-демократа — умеренный либерал Афранио Портела и тяготеющий к анархизму Эвандро Нунес — тихо выпивали в кафе «Коломбо». Дело было на следующий день после выборов. Взгляд местре Портелы скользил по окнам дома напротив, где помещалось ателье мадам Пик. Когда-то из этих окон Роза углядела Антонио Бруно. Теперь у неё собственная мастерская — целый этаж на улице Розарио, — она прислала доне Розаринье свою визитную карточку с предложением услуг.

— Кум, а я начал роман... Послезавтра отправляюсь в свой домик в Терезополисе, сяду за машинку.

— Давно пора.

— Я думал, что «Женщина в зеркале» — моя последняя книга. К гостиным и гарсоньеркам я вкус потерял, родные мои места остались далеко позади, и новую Малукинью мне уже не создать.

— Но ведь я не так давно читал твой рассказ... Там как раз про «Коломбо». Я помню...

Послушав, как Эвандро говорит о его рассказе, местре Афранио возгордился: он и не знал, что кум прочитал «Пятичасовой чай» и даже что-то запомнил.

— Он был напечатан четыре года назад. Меня вдохновил романчик, который завёл Бруно с одной швейкой — раньше она сидела как раз напротив — вон там, на втором этаже. Ну вот я и решил вернуться к ней...

— К швее?

— Да. Теперь-то я знаю, что она из себя представляет, а в рассказе всё наврано... Героинями романа будут эта самая Роза и три другие любовницы Бруно. Действие начнётся на панихиде.

— Там-то мы и заварили эту кашу, помнишь? Вошёл полковник Перейра, отдал честь усопшему... В газетах появились фотографии, чтобы никто не сомневался.

Эвандро поднёс рюмку к губам:

— Чёрт побери, мне теперь нечего делать! Ты будешь сочинять роман, а мне чем заняться? Без войны скучно.

— Пиши мемуары.

— Что ж, из нашей партизанщины может получиться неплохая глава... Генерала похоронили сегодня утром? — Он выпил рюмку до дна.

Прежде чем ответить, Афранио Портела залпом опорожнил свою. Оба держали рюмки перед собой, и казалось, что академики чокаются.

— Сегодня. В одиннадцать. Родриго, разумеется, присутствовал, без него не обошлось.

Он подозвал официанта и спросил счёт. Потом, лукаво улыбнувшись, взглянул на Эвандро, воскликнул с мрачным пафосом:

— Убийца!

...Два старых литератора, вполне довольные жизнью, медленно идут по улице. Они направляются в книжный магазин — полистать книги, узнать о последних новинках, обсудить триумфы и провалы, купить из-под прилавка иностранные издания, продажа которых в Бразилии запрещена.

### МОРАЛЬ

Мораль? Извольте: в мире покуда не уничтожены ни мрак, ни война против собственного народа, ни тирания. Но, как доказывает эта история, всегда можно взрастить семя, зажечь огонь надежды.

1. Жоакин Мария Машадо де Ассиз (1839—1908) — бразильский писатель, зачинатель критического реализма в бразильской литературе. Основатель и первый президент Бразильской Академии. (Здесь и далее примеч. переводчика.) [↑](#footnote-ref-1)
2. В ноябре 1937г. президент Бразилии Жетулио Варгас (1883—1954) разогнал конгресс и обнародовал корпоративную конституцию, провозгласившую страну Новым государством. Были распущены все политические партии, а прерогативы президентской власти значительно расширены. [↑](#footnote-ref-2)
3. Итамарати — квартал в Рио‑де‑Жанейро, где располагались правительственные здания; здесь — министерство иностранных дел. [↑](#footnote-ref-3)
4. Дезембаргадор — высший судейский чиновник в Бразилии. [↑](#footnote-ref-4)
5. Жребий брошен! (лат.) — слова, приписываемые Юлию Цезарю. [↑](#footnote-ref-5)
6. Тем хуже для тех, кто не любит ни собак, ни грязи (фр.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Грегорио Матос да Герра (1633—1696) — бразильский поэт, известный своими сатирическими стихами. [↑](#footnote-ref-7)
8. Томас Антонио Гонзага, (1744—1810) — бразильский поэт и общественный деятель. [↑](#footnote-ref-8)
9. Имеются в виду события 1930—1932 гг. — борьба между буржуазно‑помещичьей олигархией штатов Сан‑Пауло и Минас‑Жерайс и т. н. Либеральным альянсом во главе с Ж. — Д. Варгасом. Это борьба вылилась в буржуазную революцию, подорвавшую господство консервативной аграрной олигархии и закончившуюся победой Варгаса. [↑](#footnote-ref-9)
10. Кабинда, кимбунду, наго — языки народов Африки. [↑](#footnote-ref-10)
11. Морис Гостав Гамелен (1872—1958) — французский генерал. Один из главных виновников поражения Франции. Максим Вейган (1867—1965) — французский генерал, главнокомандующий вооруженными силами (1940). [↑](#footnote-ref-11)
12. Барон де Рио Бранко — псевдоним бразильского дипломата и писателя Жозе Мариа да Силва Параньоса (1845—1912), Жоакин Набуко (1849—1910) — бразильский писатель, политический деятель и дипломат. [↑](#footnote-ref-12)
13. «Мистера Алмейду, короля гейш» (англ.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Это знаменитый поэт, моя милая, все женщины мечтают спать с ним (фр.). [↑](#footnote-ref-14)
15. На месте (лат.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Э?о — блюдо из моллюсков с травами. [↑](#footnote-ref-16)
17. Рогоносец! Король рогоносцев! (фр.) [↑](#footnote-ref-17)
18. Пьетро Масканьи (1863—1945) — итальянский композитор. [↑](#footnote-ref-18)
19. Кодзики, манъёсю, моногатари, никке — произведения древнеяпонской классической литературы. [↑](#footnote-ref-19)
20. Бразильские поэты Т. — А. Ганзага и К. — М. да Коста были участниками заговора «инконфидентов», ставивших своей целью провозглашение независимости страны, отмену рабства, отмену сословного деления. В мае 1789г. заговор был раскрыт, а его участники приговорены к ссылке и изгнанию. [↑](#footnote-ref-20)
21. Фернандо Пессоа (1888—1935) — португальский поэт, писавший под своим именем, а также создавший трёх «двойников»‑гетеронимов — Алберто Каэйро, Рикардо Рейса и Алваро де Кампоса. [↑](#footnote-ref-21)
22. Сеньора Делия Пилар, исполнительница танго (исп.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Поворотам истории (фр.). [↑](#footnote-ref-23)
24. Необходимое условие (лат.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Бандейранты — завоеватели внутренних районов Бразилии в XVI — XVIII вв. [↑](#footnote-ref-25)
26. «Лесной капитан» — в колониальной Бразилии — прозвище охотника за беглыми неграми. [↑](#footnote-ref-26)
27. Асо (aco) — сталь (португ.). [↑](#footnote-ref-27)
28. Имеется в виду война, которую Аргентина, Бразилия и Уругвай вели с 1864 по 1870г. с Парагваем, потерявшим в ходе её половину территории и 4/5 населения. [↑](#footnote-ref-28)
29. Положение обязывает (фр.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Милосердный французский господь (фр.). [↑](#footnote-ref-30)
31. Интервентор — временный представитель президента в каком‑либо штате. [↑](#footnote-ref-31)